

ISSN: 2500-0225

**ЖУРНАЛ
ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Научный электронный журнал

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№4

2016

ISSN: 2500-0225

JOURNAL OF FRONTIER STUDIES

Scientific e-journal

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№4

2016

ЖУРНАЛ ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2016, №4

Основан в 2016 г.

Журнал является периодическим изданием, выходящим четыре раза в год, не имеющим печатной версии. В журнале публикуются научные статьи, рецензии, информационные ресурсы, отчеты об экспедициях, конференциях и прочие научные материалы.

Журнал является рецензируемым научным изданием, посвященным проблемам **фронта**. Все статьи перед публикацией проходят экспертную оценку ведущих ученых.

- Государственная регистрация в Роскомнадзоре: Свидетельство о регистрации СМИ (электронная версия): Эл № ФС77-61330 от 07 апреля 2015 г.
- ISSN: 2500-0225

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ:

Якушенков Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,

Романова Анна Петровна, доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет».

РЕДАКТОР АНГЛИЙСКОЙ ВЕРСИИ

Саракаева Элина Алиевна, кандидат филологических наук, доцент, Хайнаньский университет, Хайкоу (КНР)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР:

Алиев Растям Тухтарович, кандидат исторических наук, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Якушенков Сергей Николаевич, (Главный редактор), доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

Романова Анна Петровна, доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

Морозова Елена Васильевна, доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».

Федорова Мария Михайловна, доктор политических наук, ИФ РАН

Гринев Андрей Вальтерович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), профессор кафедры культурологии и социологии Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ).

Khodarkovsky Michael, Ph.D. in History, professor of Loyola University Chicago.

Romaniello Matthew P., Ph.D. in History, associate Professor of History, University of Hawaii at Manoa; associate Editor «The Journal of World History»

Geraci Robert P., Ph.D. in History, associate Professor of Department of History of University of Virginia.

Sunderland Willard, Ph.D. in History, Henry R. Winkler Professor of Modern History, Department of History, University of Cincinnati

КОНТАКТЫ:

По издательским вопросам: Главный редактор журнала (Якушенко Сергей Николаевич)

Email: editorialboard.jsf@gmail.com

По организационным вопросам: Дирекция журнала (Топчиев Михаил Сергеевич)

Email: G.F.N@inbox.ru

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Генезис. Фронтир. Наука».

Адрес: г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 24, кв. 88.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РОССИЙСКИЙ ФРОНТИР

Якушенков С.Н.

На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят..... 7

Черник М.В.

Интеграция калмыков в правовую систему Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX вв. 33

Власова Н.В.

Миссионерское служение священника Иоанна Нигровского на Нижневолжском фронтире..... 44

Кирчанов М.В.

Между советизированной нацией и национализированной советскостью, или как русские националисты преодолевали фронтирность идентичности (от советизации дискурса к позднесоветской эрозии) 52

ЗАРУБЕЖНЫЙ ФРОНТИР

Саракаева Э.А.

Нибелунги на окраинах: трансформация легенды о Нибелунгах в фольклоре германо-скандинавского фронта 76

СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ ФРОНТИРНОЙ ТЕОРИИ

Болдырихин А.А.

Фронтирная экономика: глобальные перспективы развития криптовалют 95

РАЗНОЕ

Алиев Р.Т.

Обзор публикационной активности Журнала Фронтирных Исследований: итоги 2016 года..... 104

CONTENT

RUSSIAN FRONTIER

Yakushenkov S.N.

Gloomy clouds cover the border - the stern land is enveloped in silence 7

Chernik M.V.

Integration of kalmyks into legal system of the Russian empire at the end of XVIII – the first half of the XIX centuries..... 33

Vlasova N.V.

Missionary activities of priest Ioann (John) Nigrovsky in the Lower Volga frontier 44

Kyrchanoff M.W.

Between sovietised nation and nationalised sovietness, or how russian nationalists overcame frontieness in identity (from sovietization of discourse to the late soviet erosion)..... 52

FOREIGN FRONTIER

Sarakaeva E.A.

Nibelungs on the margins: transformation of the Nibelungen legend in the folklore of german-scandinavian frontier 76

RELATED PROBLEMS OF FRONTIER THEORY

Boldyrikin A.A.

Frontier economy: the global perspectives of cryptocurrencies development ... 95

MISCELLANIOUS

Aliev R.T.

Journal of Frontier Studies publication activity review: the results of 2016... 104

НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО, КРАЙ СУРОВЫЙ ТИШИНОЙ ОБЪЯТ

Якушенков С.Н.

Якушенков Сергей Николаевич, Астраханский государственный университет,
Астрахань, 414056, ул. Татищева 20А.

Email: shuilong@mail.ru

Статья обсуждает проблему восприятия фронтального пространства в русской культуре. Автор пытается показать, что так называемое «felt-quality of space» или ощущение пространства субъектом во многом является отражением особых условий проживания. Беря за основу анализа поэтические нарративы, связанные с ГУЛАГовским прошлым нашей Родины, автор показывает, что это пространство воспринимается в негативных категориях, сближающих его с понятиями ада. Локус в этих нарративах тонет в топосе, становится неопределенным, так как бескрайние просторы Севера растворяют место (локус) в пространстве (топос). Пространство (природное и социальное) подавляет человека, ломает его. Именно поэтому одним из распространенных жанров, посвященных этой теме, является литания, в которую вкрапливается тема побега, исхода и т.д.. Грусть, тоска субъекта сменяется бунтом, взрывом, заставляющим его совершать дерзкие поступки. Другой темой этих литаний является смерть в степи/горах, поле и т.д.. Перед смертью герой обращается к своим друзьям, сослуживцам и т.д. Фронт (бескрайние степи, тундра и т.д.) воспринимается как чуждое человеку пространство. Находясь здесь, он меняется, совершая акты трансгрессии. Именно эти акты и позволяют лиминальному персонажу утвердиться в новом для него пространстве, заявить о себе. Данная статья является первой частью большой работы, посвященной восприятию пространства в русской культуре.

Ключевые слова: фронт, пространство, топос, локус, лиминальный персонаж, литания, ламентация, трансгрессия, нарратив, *modus vivendi*, поведенческие паттерны, гетеротопия, русская культура.

Топологические рассуждения вместо введения

Говоря про фронт, мы невольно вынуждены анализировать его феномен сразу в нескольких плоскостях и в нескольких научных направлениях. Все это происходит из-за того, что фронт предстает перед нами и как некий исторический процесс, и некое определенное пространство, отличное от пространства основного (метрополии). Фронт – особое пространство порубежья или точнее «зарубежья», так как находится за некой границей обжитой территории. Фронт – это и сама граница, и то, что находится за ней. Это та территория, где основные законы нашего изначального пространства/места перестают действовать, и мы оказываемся в новых условиях, где действуют иные законы и иные

экзистенциальные нормы. Фронтирное пространство предстает перед нами в самых разнообразных формах и культурных паттернах: ада и рая, надежды или безысходности (Якушенков, 2015). Поэтому восприятие субъектом этого пространства кардинальным образом отличается от восприятия субъектами иных пространств.

По нашему мнению, это отношение к новому пространству является важнейшим фактором, определяющим дальнейшее развитие структуры этого пространства (топоса), его трансформацию в новые локусы, их качественное отличие от локусов изначального пространства. Топофилия и топофобия, утопия и дистопия – вот кардинальные маркеры этого отношения к фронтирному пространству, направляющие и формирующие новые экзистенциальные условия субъекта. От этих основных настроев будет зависеть, как нам кажется, что окажется сформированным в новых локусах, какое общество будет создано.

Во многом и топофилия, и топофобия, как ни странно, оказываются некими основаниями уже сложившейся картины мира. Субъект приходит на фронтирное пространство уже вооружившись ими. Поэтому наша задача понять эти настроения, считать его внутренним настроем, направляющим его к новым рубежам.

К сожалению, наука не всегда оперирует точным инструментарием для считывания этих показателей. Российская колонизация Сибири имела самые разнообразные формы. Некоторые из них были оптимистичными, другие нет. Колонисты оказались носителями одновременно и топофильных, и топофобных настроений. В одних случаях они добивались успехов, в других нет.

Хотя данная статья не претендует на исчерпывающее изучение данной проблемы, вместе с тем нам бы хотелось «вскрыть» те образы восприятия фронтирного пространства, которые транслировались в общероссийскую культуру носителями этого фронтирного опыта, либо репродуцировались в рамках общероссийского культурного ландшафта, усиливая уже существующие культурные модели спационального восприятия фронта.

Основная часть

Американский ученый китайского происхождения И-Фу Туань (Дуань Ифу, Туан И-фу, Ифу Туан) среди тем своих основных научных исследований назвал «felt-quality of place» (2003, p. 135). То есть один из основоположников нового направления, названного «human geography», своё любимое направление в науке определяет, как изучение «ощущаемого свойства места». Сочетание «felt-quality» – это нечто, что воспринимается органами чувств, как, например, «мех, приятный на ощупь». Это некоторое

свойство меха, осознаваемое нами через тактильные ощущения. Другими словами, именитого ученого интересует то, как мы воспринимаем те или иные места, т.е. те ощущения, которые возникают от определенных мест. Но в своей статье мы попытаемся отойти от «места», посвятив наш анализ не только «ощущаемым свойствам места», но и «ощущаемым свойствам пространства» («felt-quality of space»). Мы попытаемся показать, что во многом это «felt-quality of place» во многом порождено особым «felt-quality of space».

Но, чтобы начать наш разговор об этом, нам понадобится дать определенную дефиницию понятия «пространство». Сложность заключается в том, что имеющиеся определения, как правило, даны с позиции определенных наук, а так как у нас имеется множество дисциплин, изучающих пространство, то и определения могут различаться, и кардинальным образом отличаться одно от другого. Тема, которой посвящена эта статья, вообще не завязана на какую-то конкретную научную дисциплину, а видится нами как междисциплинарная. «Felt-quality of place/space» невозможно свести к какой-то одной научной дисциплине, так как в любом случае нам придется обращаться к различным методологиям и понятиям из различных научных дисциплин. Все это создает определенный хаос, превращающийся в своеобразный художественный ассамбляж, не всегда отвечающий стандартам научного исследования. Может быть поэтому уже упомянутый нами Туань Ифу в конечном итоге обратился именно к этой форме, написав свое знаменитое произведение «Дорогой коллега: общие и специальные наблюдения» (2002), в которой в свободной форме изложил некоторые свои наблюдения на природу и человеческое общество. Интересен сам механизм презентации этого труда. Ученый сначала рассылает рукопись своим друзьям и коллегам, а затем направляет ее в издательство. И это вполне оправдано. Ведь этот околонучный и сугубо личностный взгляд маститого ученого на мир представляет глубоко научный интерес для многих ученых. И в этом ненаучном-научном акте заключен очень важный когнитивный парадокс, обозначаемый или точнее намечаемый именитым гуманитарным географом¹.

Мы уже писали о том, что нередко само понятие пространства ускользает от нас, попытка определить его, оформить в некую дефиницию в конечном итоге удаляет нас от его понимания (Якушенков & Романова, Хоррористический ландшафт Хоры, или Платон vs Тёрнер, 2016). Может

¹ Парадокс заключается и даже в самом наименовании специальности Туаня на английском языке. Он geographer. Но правильнее было бы назвать его human geographer, так как он является одним из основоположников human geography. Однако такое определение теряет смысл из-за своей двусмысленности.

быть поэтому ученые, принадлежащие к таким направлениям, как культурная и гуманитарная географии, хотя активно и используют понятие пространства, так и не дали ему достаточно «убедительного» определения. Российский академик директор Института этнологии и антропологии РАН, говоря о пространстве, называет его «всегда культурно осмысливаемой субстанцией» (2012, стр. 7). Хотя не совсем ясно, что понимает именитый антрополог под термином субстанция и в чем же проявляется субстанциональность пространства, но с ним можно согласиться, в части «культурного осмысления». Однако, соглашаясь с подобным определением не стоит и забывать, что «культурно осмысливаются» самые разнообразные субстанции, поэтому чем одна субстанция (осмысленная) отличается от другой не совсем понятно. Вместе с тем, возвращаясь к Хоре Платона, можно еще раз продемонстрировать, сколь непросто это «культурное осмысление», о чем и предупреждает нас античный философ. Следуя за Платоном, мы постоянно должны задавать себе вопрос: а до конца ли мы осмысливаем (т.е. понимаем), чем для нас является пространство/а. Для Анри Лефевра пространство – это то, что творится телом, прежде всего нашим телом (2015, pp. 174-186). В понимании А. Лефевра, таким образом, пространство – расстояние между телами¹. При всей гуманитарности подхода Лефевра, его понимание близко к понятию мерного пространства, с той лишь разностью, что «мерность» его пространства сложно измерить. А «felt-quality» этого пространства будет излишне субъективным, так как любое пространство предполагает наличие как минимум двух тел. Правда, А. Лефевр поясняет, что пространство можно проклассифицировать в соотнесении с «...тем, что телу угрожает или что ему благоприятствует. Его детерминация имеет, по-видимому, три аспекта: жест, след, метка» (2015, стр. 176). Перефразируя ленинское определение материи, скажем, что, таким образом, пространство есть реальность, данная нам в ощущениях. Мы намерено выкинули из этой фразы понятие «объективности», так как речь идет об ощущениях, т.е. органах чувств, что вне всякого сомнения переводит эту реальность из объективной в субъективную. Правда, мы можем эти некоторые пространства подвергать исчислению. При этом наши измерительные приборы могут быть самыми разными. Но учитывая тот факт, что тела в пространстве могут нередко перемещаться по отношению друг к другу, результат этих измерений не всегда можно предугадать. С помощью приборов проще измерить расстояние между телами, но не пространство.

¹ Парадокс фронтального пространства заключается в том, что оно как бы находится за пределами конкретного тела или локуса, но ничем не ограничено. Это не мерное пространство между телами или точками, так как второй точки контроля не существует. Она может формально и существовать, но фронтальному субъекту она не известна.

Расстояние между городами можно, конечно, измерить в метрах или километрах, однако, это ни в коей мере не приближает нас к пониманию пространства между конкретными локусами. Можно легко заметить, что это пространство постоянно пульсирует, то сжимается, то вновь расширяется. Пространство Москвы – порта пяти морей¹ – нередко последнее время сжимается до МКАДа.

Метрическое пространство, хотя и подлежит точному измерению, не остается неизменным, так как «дано нам в ощущениях». Расстояние в километрах и расстояние в темпоральных затратах на его преодоление не одно и то же. Пространство в древности измерялось с помощью времени, затраченного на его преодоление. Изменилась ли ситуация в настоящий момент? Конечно нет. «В этот край таежный только самолетом можно долететь» пелось в одной из песен Пахмутовой на слова С. Гребенникова и Н. Добронравова. «Только самолетом» мысленно отсылает нас в невероятные дали, максимально отодвигая описываемое пространство таежного края. И в данном случае нахождение там героев песни не превращает автоматически данный *topos* в *locus* (Субботина, 2011).

Пространство в древности измерялось сложностями пути, опасностями, которые поджидали путешественника в этих местах, и т.д. Изменился ли сейчас этот подход? Отнюдь нет! Туристические агентства и даже официальные представительства различных стран постоянно печатают рейтинги различных стран и территорий на предмет оценки безопасности/ опасности нахождения там, комфортности проживания и прочего. Описание известным советским поэтом Н. Заболоцким своего путешествия по Сибири поражает своей жесткостью: «Шестьдесят с лишком дней мы тащились по Сибирской магистрали, простаивая целыми сутками на запасных путях. В теплушке было, помнится, человек сорок народу. Стояла лютая зима, морозы с каждым днем все крепчали и крепчали. Посередине вагона топилась маленькая чугунная печурка, около которой сидел дневальный и смотрел за нею. Вначале мы жили на два этажа — одна половина людей помещалась внизу, а вторая — вверху, на высоких нарах, устроенных по обе стороны вагона, на уровне немного ниже человеческого роста. Но вскоре нестерпимый мороз загнал всех нижних жителей на нары, но и здесь, сбившись в кучу и согревая друг друга собственными телами, мы жестоко страдали от холодов. Понемногу жизнь превратилась в чисто физиологическое существование, лишённое

¹ На самом деле географическое пространство Москвы растет, территория Москвы постоянно увеличивается, но ее остальные пространства находятся не в такой зависимости от территориальной. Символическое пространство Москвы сжимается. Оно не так совпадает с социальным или культурным пространством страны. Отсюда и возникают всякие анекдотические сентенции, типа «Есть ли жизнь за МКАДом?». Если же говорить о политическом пространстве Москвы, то оно значительно больше этой территории, и порой даже перекрывает пространство страны, выходя за ее пределы.

духовных интересов, где все заботы человека сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не замерзнуть и не быть застреленным, подобно зачумленной собаке...» (1991, стр. 15-16). Пространство, на пересечение которого у нас ушло бы не более недели, растягивается на неопределенное время постоянных страданий автора воспоминаний. В этом пространстве Сибирской магистрали иногда возникают различные локусы, но их описание полностью смазано переживаниями героев, доведенных до отчаяния. Сибирская магистраль для Н. Заболоцкого – это двухмесячное пространство его страдания. Правда, в этом страдании он не одинок. Поэтому здесь мы вынуждены вновь возвратиться к практически универсальному определению различия локуса и топоса: «Пространство превращается в место, поскольку оно приобретает определение и значение» (Tuan, 2001, p. 136). Интимное переживание пространства, как мы видим из описания Заболоцкого, еще не превращает переживаемое пространство в место. Конечно, здесь речь идет о поезде, который постоянно перемещается в пространстве. Но и упоминание отдельных мест, где поезд останавливался, не имеют в его описании определенности или некой идентичности. Они – всего лишь названия, но за ними ничего не стоит. Весь двухмесячный путь – одно сплошное черное пятно отторгнутых воспоминаний и переживаний. Может быть поэтому свои воспоминания о путешествии до своего лагеря в Комсомольске-на-Амуре он заканчивает своим стихотворением, посвященным двум старикам, замерзающим где-то около Магадана: «Где-то в поле возле Магадана / Посреди опасностей и бед, / В испареньях мерзлого тумана» (стр. 18). Для Н. Заболоцкого важнее не место, а событийность. «Где-то в поле возле Магадана» – не имеет определенной привязки. Судьба двух заключенных подается как уход от конкретного места, бегство (пускай и символическое, в состоянии *postmortem*), которое хотя и направлено в сторону родного края, о котором они вспоминают перед смертью, также не имеет реальной привязки:

«Обняла их сладкая дремота,
 В дальний край, рыдая, повела.
 Не нагонит больше их охрана,
 Не настигнет лагерный конвой,
 Лишь одни созвездья Магадана
 Засверкают, став над головой» (стр. 19).

Перед нам какой-то двусмысленный симбиоз локуса-топоса. И хотя локус как бы указан в стихотворении, но он слишком неопределенный, двусмысленный. «Созвездья Магадана» могут относиться как к определенной местности, так и являться символом определенной судьбы, лагерной участи. Созвездья Магадана оказываются лишь метафорой в этом

повествовании. Локус как бы растворяется в большом пространстве северного края. Можно даже сказать, что символика топоса поглощает локус, делая его менее значимым (непроявленным). Схожую ситуацию, в которой топос поглощает локус встречаем мы и у В. Высоцкого:

«Вспоминаю, как утречком раненько
Брату крикнуть успел: «Пособи!»
И меня два красивых охранника
Повезли из Сибири в Сибирь» (1988, стр. 257).

Из Сибири (как определенного места – локуса) субъект, превращенный в объект, перемещается в Сибирь (как определенный топос – пространство неволи, несвободы и т.д.). Сибирь (как место) оказывается подавленным топосом.

Эта локусная неопределенность, невыделенность из топоса встречается во многих произведениях, посвященных схожей тематике.

«По тундре, по железной дороге,
Где курсирует поезд «Воркута-Ленинград».

В этой песне Григория Шурмака, написавшего ее в 1942 г., когда ему было всего лишь 17 лет, очень ярко отразились все национальные культурные парадигмы восприятия фронтального пространства Сибири. У начинающего поэта не было никакого лагерного опыта, никогда он не был на Севере или в Сибири. Песня «По тундре, по железной дороге» («Поезд») была своеобразным откликом на судьбу старшего брата, оказавшегося в Карелии в местах заключения. В этом примере мы встречаем своеобразный прецедент, когда песня молодого неопытного поэта о лагерной жизни оказывается «эталонной» и воспринимается всем советским обществом. На самом деле в этом парадоксе нет ничего удивительного. Российское общество живет в этот период ощущением особого пространства Крайнего Севера, который в общественном дискурсе в основном ассоциируется с лагерной зоной. Бесконечная Сибирь, тундра – все это пространство зоны. Но не только общественное сознание «повинно» в этой модели восприятия фронтального пространства. Официальная культура делает многое для такой картины мира. Практически до 80-х гг. радио и телевидение передает песни, посвященные «бегству». Правда, в них рассказывается о судьбе досоветских каторжников. «По диким степям Забайкалья», «Славное море – священный Байкал» и многие другие песни посвящены одной и той же теме, аналогичной бегству из неволи. По сути перед нами однообразные литании, разворачивающиеся на фоне фронтального пространства. И хотя в некоторых из них и упоминаются локусы (Колыма, Воркута, Байкал, Магадан, Акатуй, Нерчинск и т.д.), все это неполные локусы. Это лишь своеобразные ориентиры, по которым выстраивается «маршрут». Беглец

перемещается не от локуса к локусу, он перемещается в одном сплошном пространстве фронтальной дистопии. Это в действительности «*ou-topos*», кардинальным образом отличающийся от «*eu-topos*»¹:

«Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой.
По трапу войдешь ты туда,
Оттуда возврата уж нету.
Пятьсот километров тайга,
Живут там лишь дикие звери.
Машины не ходят туда,
Бредут, спотыкаясь, олени»². («Ванинский порт»)

Здесь *eu-topos* (Чудная планета Колыма³) вытеснен *ou-topos* 'ом неопределенности, потерянности в пространстве: «Оттуда возврата уж нету //Пятьсот километров тайга, //Живут там лишь дикие звери. // Машины не ходят туда, // Бредут, спотыкаясь, олени». Да и сам переход в это затерянное пространство также сложен:

«От качки стонали зэка,
Обнявшись, как родные братья,
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья».

Перед нами типичное гетеротопное пространство, которое можно и найти на карте, но законы, действующие на этой территории отличаются от законов, действующих на «стандартном» пространстве метрополии – сюда сложно попасть, и еще сложнее отсюда выбраться. И хотя реальные климатические условия на Колыме кардинальным образом отличаются от описываемых (даже в лучшую сторону от условий проживания в других северных лагерях), однако, для находящихся там эта территория кажется сверхординарной и отличной от стандартных условий «нормативного» пространства.

Фронтальная территория, максимально удаленная от центра, характеризующаяся особыми условиями проживания, воспринимается субъектами культуры, превращенными в объекты в силу политических и социальных обстоятельств, воспринимают это пространство в кризисных параметрах⁴.

¹ Когда Томас Мор написал свою «Утопию», он по сути дела использовал каламбур, отсылающий нас сразу к двум значениям: «*eu-topos*» – греч. «благое место», и «*ou-topos*» – «нигде», досл. «не-место».

² Приводим текст по памяти, так как нам не удалось найти ссылку на публикацию этой песни в печати.

³ Колыма называется «чудной планетой» не только в этой песне, в другой лагерной песне пелось: «Колыма, Колыма – чудная планета: двенадцать месяцев зима, остальное лето». Иногда вместо «чудесной» употреблялось определение «дивная».

⁴ О кризисных гетеротопиях см.: М. Фуко (1986, pp. 24-25).

Основная тема представленных нарративов в основном посвящена либо описанию ужасов пребывания в этом пространстве, либо описанию возвращения, бегства из ада. По сути, в этих нарративах две мифологемы движения: катабасис и анабасис. Сошествие вниз, в ад, и бегство из него. Нередко эти описания представлены в виде литаний, т.е. жалоб (или плачей) на судьбу и своё бедственное положение:

«А завтра утром по пересылке я
Уйду этапом на Воркуту,
И под конвоем, своей работой тяжкою,
Быть может, смерть свою найду.
И вот доставят тебе записочку,
Её напишет товарищ мой:
«Не плачь, не плачь, подруга моя милая,
Я не вернусь уже домой».

А ты стоять будешь у подоконника,
Платком батистовым слезу утрёшь;
Не плачь, не плачь, любимая, хорошая,
Ты друга жизни ещё найдёшь.
А дети малые, судьбой оплаканы,
Пойдут дорогой искать меня;
Не страшны им срока огромные,
Не страшны им и лагеря» (Этап на Север) (Черный ворон. Песни дворов и улиц., 1996, стр. 16-17).

Этап на Север – это как движение за тридевять земель, продвижение в подземный мир. Иногда этот символический катабасис имел и реальные формы реализации, сопровождавшиеся спуском под землю в шахту или пересечение моря, как в песне про «Ванинский порт». Но на самом деле, как нам кажется, все эти совпадения не играли существенной роли. Здесь, по нашему мнению, определенную роль играло совпадение с русским архаичным сознанием, в котором Северу отводился символическое место низа, а не верха, как на современных картах. Север – это полные страны, страны зимы, холода и страдания. Петербург – это «...юный град / Полночных стран краса и диво» у Пушкина в «Медном всаднике» (стр. 378-379). Ту же метафору Севера находим мы и в арии «Садко». В противовес ему Юг – верх, полуденные страны, страны лета, жары и изобилия. Таким образом, собирательная метафора «этапа на Север» – это метафора спуска в преисподню, мучения героя, опасного бегства из лагерного ада и страдания его близких (матери, жены, детей и т.д.). Вместе с тем, здесь следует оговориться, что подобная модель перемещения во фронтальном пространстве не является единственной. Мы уже писали о том, что нередко продвижение в Сибирь было мотивировано

поисками там сказочной страны Ирия (Вырея) или Беловодья (Якушенков & Якушенкова, 2013). Правда, и в этом случае путешествие в эту «страну изобилия» было очень опасно и сопряжено с множеством трудностей:

«Чего мы там не натерпелись, каких бед-напастей не испытали; сторона незнакомая, чужая и совсем как есть пустая – нигде человечья лица не увидишь, одни звери бродят по той пустыне. Двое наших путников теми зверями при нашем виденье заедены были. Воды в той степи мало, иной раз дня два идешь, хотя б калужинку какую встретить; а как увидишь издали светлую водицу, бежишь к ней бегом, забывая усталость. Так, однажды, увидав издали речку, побежали мы к ней водицы напиться; бежим, а из камышей как прыгнет на нас зверь дикий, сам полосатый и ровно кошка, а величиной с медведя; двух странников растерзал во едино мгновенье ока... Много было бед, много напастей!» (Мельников-Печерский, 1909, стр. 135).

Примечательно, что подобная модель восприятия фронтального пространства как некоего хаоса характерна для многих народов. При грекоцентристском подходе к восприятию пространства оно было неоднородным для Страбона и Геродота. В этой «карте» греческой ойкумены пространство было крайне неоднородным. Однако, оно было максимально организованным. Там максимальная упорядоченность, асимметричность сменялись хаосом (социальным, культурным, физическим и т.д.). Если быть до конца объективным, наша картина мира не сильно изменилась за прошедшее время. Пространство(а), окружающее(ие) нас все также не столь однозначно. Но легко заметить, что географическое пространство «лагерной песни», да и ранних греческих авторов – пространство в большей степени социальное. Там мало собственно географии, и много хаоса, порождаемого другими народами или людьми, в «задачу» которых входит создание трудностей для субъекта (диких народов, чудовищ-каннибалов, конвоиров, начальников лагерей и т.д.).

Вместе с этим, как нам кажется, вообще перемещение в пространстве для русского человека несколько скучный, печальный и тягостный процесс. Многие сюжеты этих песен – это жалобы на судьбу. Жалуется или сам субъект, или его спутник (спутники). И здесь не важно, кто этот субъект. Грусть производится уже самим пространством:

«По дороге зимней, скучной /Тройка борзая бежит, /Колокольчик однозвучный /Утомительно гремит». (Пушкин А.С. «Зимняя дорога»); «Однозвучно гремит колокольчик, /И дорога пылится слегка, И уныло по ровному полю /Разливается песнь ямщика. // Столько грусти в той песне унылой, /Столько грусти в напеве родном, /Что в душе моей хладной, остылой /Разгорелось сердце огнем» (Однозвучно гремит колокольчик»,

слова И. Макарова). И наконец, «Степь да степь кругом» («Степь» И.З. Суриков), по среди которой «умирал ямщик». Последняя песня, написанная в 1869 г. имеет и своеобразный народный прототип, в котором описывается тот же самый мотив смерти ямщика и обращения его к своим друзьям (Степь Моздокская»). Истоки и параллели этой песни были хорошо проанализированы российскими фольклористами (Лопатин & Прокунин, 1956, стр. 109-116), поэтому мы не будем здесь подробно останавливаться на фронтальных особенностях этого сюжета гибели в поле. Как справедливо указывали вышеупомянутые исследователи «в «Степи», как и в «Горах» и в «Поле», выражается не внешнеполитическая история нашего народа, а история его внутреннего мира, его отношений к природе, к судьбе, семье и государству в поэтических песенных образах... Дальняя дорога, степь, где проходили бесконечные торговые обозы, дорожное несчастье и прощание с товарищами и домом – все это было близко и понятно, по своему лирическому чувству, целому ряду поколений русских людей, да и сейчас еще не стало чуждо, а песня до сих пор не изменяется в вариантах» (стр. 116). С этими высказываниями сложно не согласиться. Степь, тундра, огромное необжитое пространство, опасность, смерть, каторжники, бредущие по этапу или убегающие из мест заключения – вот цепочки образов, объединенных воедино. Один образ рождает целый ассоциативный ряд, вызывающий самые разнообразные ощущения (от романтических до страха): «Спускается солнце за степи, / Вдали золотится ковыль. / Колодников звонкие цепи / Взметают дорожную пыль. / Идут они с бритыми лбами, / Шагают вперед тяжело. / Угрюмые сдвинуты брови, / На сердце раздумье легло» (Толстой, стр. 89). И даже вид прекрасных полевых колокольчиков не освобождает от дум об опасности: «Упаду ль на солончак / Умирать от зною? / Или злой киргиз-кайсак, / С бритой головою, / Молча свой натянет лук, / Лежа под травой, / И меня догонит вдруг / Медною стрелой?» (Толстой, 1963, стр. 59).

Таким образом, пространство фронта (или некоторых отдаленных пространств) – это пространство неопределенности, опасности, не сулящее субъекту ничего хорошего. И хотя все приведенные примеры распадаются на две большие группы, в них много и общего. Первая группа – это нарративы или путешествия в далекую страну (край, территорию), куда насильно перемещают героя нарратива, или бегства (возвращения) из этого враждебного для него пространства. Сама насильственность этого перехода в новое пространство, несвобода, уже сами по себе накладывают отпечаток. Бегство актора из неволи также, как правило, сопровождается описанием угрюмого, мрачного и опасного пространства, в котором он оказался. Эта опасность подчеркивается еще и погоней, угрозой убийства. Правда, есть и ироничные варианты этого побега, как, например, «И вот по

тундре мы, как сиротиночки, / Не по дороге все, а по тропиночке. / Куда мы шли — в Москву или в Монголию, — / Он знать не знал, паскуда, я — тем более. / Я доказал ему, что запад — где закат, /Но было поздно: нас зацапало ЧеКа — /Зэка Петрова, Васильева зэка» (Высоцкий, стр. 113). И здесь мы видим пространство неопределенности. Беглецы бредут по тундре вникуда. Нет маршрута, нет ориентиров – главное подальше от зоны, в которой они ощущают себя чужими. Но эта легкая ирония В. Высоцкого скорее исключение не только в подобных текстах в целом, но и в творчестве самого Высоцкого. Как правило, в его текстах Сибирь – это тоже дистопия, страна уникальных возможностей¹ (Я на Вачу ехал плача, возвращаюсь хохоча!) и страна лагерей (В младенчестве нас матери пугали, / Суля за послушание Сибирь). Перемещение в Сибирь, даже добровольный – это сакральный акт, приравниваемый к смерти: «Мой друг уедет в Магадан. /Снимите шляпу, снимите шляпу! /Уедет сам, уедет сам — /Не по этапу, не по этапу» (Собрание сочинений в четырех книгах. Книга вторая. Мы вращаем Землю, стр. 340).

Лагерная Зона, Сибирь, бескрайние просторы – вот маркеры этого пространства, где мечется человек, ощущая свою беспомощность, пытаюсь вырваться на свободу. Поэтому совершенно естественно, что в большинстве случаев эти тексты – литании, и реже lamentации. Жизнь в лагерях, в тяжелых нечеловеческих условиях не может восприниматься иначе, а пространство оказывается лишь фоном, еще сильнее подчеркивающим всю сложность данной ситуации.

И здесь мы сталкиваемся с определенным культурным феноменом, который заводит нас в тупик в анализе фронтального пространства. То, что описание его происходит в форме литании, нет ничего удивительного. Фронтальная топофобия может являться результатом того, что фронт в рамках многих государственных систем превращается в территорию, максимально связанную с пенитенциарными учреждениями. И мы уже писали об этом (Якушенков, 2015). Сложность в решении проблемы «felt-quality of space» лежит в самой литании. Как обнаружила американский антрополог Нэнси Рис, изучавшая восприятие российскими гражданами событий перестройки 90-х гг., литании занимают особое положение в русском разговоре (Рис, стр. 159). По ее мнению, «литании осуществляли парадоксальную трансформацию ценностей: страдание становилось заслугой, положение жертвы стяжало уважение, утраты обращались в приобретения» (стр. 159). Под литаниями она понимала «речевые пассажи, в которых говорящий излагает свои жалобы, обиды, тревоги по поводу

¹ Возможно отношение к Сибири как территории уникальных возможностей сформировалось под влиянием дружбы с Вадимом Тумановым – золотоискателем и одним из первых советских миллионеров.

разного рода неприятностей, трудностей, несчастий, невзгод, утрат, и потом часто подытоживает это острым риторическим вопросом («Ну почему у нас все так плохо?»), являющимся фаталистическим причитанием о безвыходности ситуации, или выразительным русским вздохом разочарования и покорности» (Ries, 1997, p. 84). Невольно вспоминается финал песни «Вот мчится тройка почтовая» – «Сказал и горестно вздохнул» (Русские народные песни, 1987, стр. 49).

Собственно, еще и Достоевский указывал на то, что страдание – важнейших экзистенциальный принцип русского народа: «Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Эту жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид; он вздыхает и относит славу свою к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Что в целом народе, то и в отдельных типах...» (Дневник писателя, стр. 80).

Это страдание, постоянный дискомфорт сопровождают русского человека не только на фронтире. Достаточно вспомнить известное стихотворение поэта XIX в. Алексея Жемчужникова «Осенние журавли», написанное им в 1871 г. в Германии. Тоска по родине, разрывающая душу поэту также выливается в скорбную литанию, которую вызывает вид пролетающих журавлей:

«Сквозь вечерний туман мне, под небом стемневшим,
Слышен крик журавлей все ясней и ясней...
Сердце к ним понеслось, издали летевшим,
Из холодной страны, с обнаженных степей.
Вот уж близко летят и, все громче рыдая,
Словно скорбную весть мне они принесли...
Из какого же вы неприветного края
Прилетели сюда на ночлег, журавли?..

Я ту знаю страну, где уж солнце без силы,
Где уж савана ждет, холодея, земля
И где в голых лесах воет ветер унылый, -
То родимый мой край, то отчизна моя.
Сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть,
Вид угрюмый людей, вид печальный земли...

О, как больно душе, как мне хочется плакать!

Перестаньте рыдать надо мной, журавли!..» (Стихотворения, стр. 86).

Данные строки, снискавшие в 30-50 е гг. XX в. всеобщую любовь и вызвавшие к жизни массу различных народных вариантов, по некоторому настрою восприятия «пространства» («felt-quality of space») к эпиграфу из Петрарки, помещенному А.С. Пушкиным к 6 главе Евгения Онегина: «La sotto i giorni nubllosi e brevi, / Nasce una gente a cui l'morir non dole¹» (Полное собрание сочинений, стр. 119). Как поясняет Ю. Лотман, этот эпиграф, взятый Пушкиным из Книги Петрарки «На жизнь мадонны Лауры» (канцона XXVIII), в оригинале содержал еще одну строку:

«La sotto i giorni nubllosi e brevi,

Nemica naturalmente di pace,

Nasce una gente a cui l'morir non dole»

«Пушкин, цитируя, опустил средний стих, отчего смысл цитаты изменился. У Петрарки: Там, где дни туманны и кратки, – прирожденный враг мира – родится народ, которому не больно умирать». Причина отсутствия страха смерти – во врожденной свирепости этого племени. С пропуском среднего стиха возникла возможность истолковать причину небоязни смерти иначе, как следствие разочарованности и «преждевременной старости души» (Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий., стр. 666-667).

Но даже и с пропущенным средним стихом, эпиграф передает определенную сентенцию, нашедшую отражением в романе. Нет страха умирать, так как пространство, в котором живет этот народ, уже само по себе мрачно. Это ведь практически тоже самое, что и у А. Жемчужникова: «Я ту знаю страну, где уж солнце без силы, / Где уж савана ждет, холодея, земля / И где в голых лесах воеет ветер унылый,... // Сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть, / Вид угрюмый людей, вид печальный земли... / О, как больно душе, как мне хочется плакать!».

Но и у Пушкина в «Евгении Онегине» ключевым словом роман является *сплин*: "Недуг, которого причину / Давно бы отыскать пора, / Подобный английскому сплину, / Короче: русская хандра / Им овладела понемногу... " (Глава I : XXXVIII). Тоска, депрессия главных героев – вот определенный лейтмотив романа. Им болеет не только Онегин, но и Ленский («Он пел поблеклый жизни цвет / Без малого в осьмнадцать лет». Глава II : X).

Конечно «Евгений Онегин» не про фронтирное пространство, но роман четко обозначает общие моменты восприятия жизни. Перефразируя

¹ Итал.: «Там, где дни туманны и кратки, родится народ, которому умирать не больно».

фразу Туаня Ифу «felt-quality of place», назовем это «felt-quality of life». Но у Пушкина мы находим на самом деле своеобразный микс «felt-quality of life-space». В стихотворении Пушкина «Зимняя дорога» это ощущение скуки, печали, тоски переплетаются с монотонностью пейзажа.

Сквозь волнистые туманы
 Пробирается луна,
 На печальные поляны
 Льет печально свет она.
 По дороге зимней, скучной
 Тройка борзая бежит,
 Колокольчик однозвучный
 Утомительно гремит.
 Что-то слышится родное
 В долгих песнях ямщика:
 То разгулье удалое,
 То сердечная тоска...» (т. 2, стр. 346).

На всем протяжении небольшого стихотворения постоянно появляются переплетающиеся «ощущения» скучной, грустной, печальной «жизни-пространства»¹.

Поэт постоянно повторяет эти ощущения, возникающие от путешествия и созерцания пространства вокруг. Это даже и не пейзаж: «Ни огня, ни черной хаты, / глушь и снег... Навстречу мне / Только версты полосаты / Попадаются одне...» (стр. 346). Перед нами некое неразличимое пространство, белое, скучное, печальное, освещаемое туманной луной (Сквозь волнистые туманы / Пробирается луна, / На печальные поляны / Льет печально свет она»).

Но есть в этом стихотворении определенный мотив, пускай и однообразный, сопровождаемый утомительным звоном колокольчика («Грустно, Нина: путь мой скучен, / Дремля смолкнул мой ямщик, / Колокольчик однозвучен, / Отуманен лунный лик»), но близкий сердцу поэта: «Что-то слышится родное / В долгих песнях ямщика: / То разгулье удалое, / То сердечная тоска...». Эта гибридность – «разгулье удалое-сердечная тоска», как нам кажется, очень важная составляющая восприятия и жизни в целом, и пространства. Тема смерти в поле, тундре, в степи, горах – это обратная сторона этого «удалого разгулья». Анализируя литании, Н. Рис говорит, что литания в русской культуре – это женский жанр (2005, стр. 167). Легко заметить, что в нашем случае это исключительно мужской жанр. И женская литания ни в коей мере не смешивается «удалым разгульем». Мужская поэтическая литания – это

¹ Мы намеренно избегаем сочетания «пространство жизни», так как оно передает более общий смысл восприятия жизни.

совершенно иной вариант литании, в которой теме поведения человека отводится особое место. В прочем, еще Достоевский обратил внимание на этот факт, анализируя тему страдания. По его мнению, тема страдания тесно переплетается с особым персонажем русской культуры, названный им «безобразником»: «Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского безобразника. Тут не один лишь разгул через край, иногда удивляющий дерзостью своих пределов и мерзостью падения души человеческой. Безобразник этот прежде всего сам страдалец» (Дневник писателя, стр. 80). Но мы бы назвали этот тип «удальцом». Обозначение этого типа «безобразником» однозначно накладывает на него негативный оттенок. Вместе с тем этот тип может быть представлен в русской культуры целой палитрой различных подтипов и их обозначений: удалец, ухарь, беспредельщик, уже названный безобразник, безбашенный и т.д.. Поэтому-то, как нам кажется, тема бегства, исхода, вызова, брошенного судьбе, попытка вырваться из неволи – все это является неотъемлемой частью этого микса удалого разгуля с сердечной тоской. Фронтирный, как, впрочем, и иной «пустынный» пейзаж – лишь фон для выражения этих двух тем – точнее одного смешанного. Гетеротопное пространство России¹ порождает особый лиминальный персонаж, в котором переплетаются различные, порой, казалось бы, несовместимые характеристики. Но в этом и уникальность этого национального бриколажа, в котором проявляются внешне несовместимые черты. На самом деле, эта «удаль» порождена «разгульем», нахождением пространства культуры, да и самого субъекта, с пространством фронта (представленного самыми разнообразными зонами – степью, тундрой, тайгой, Гуляй Поле или Диким Поле, Кавказскими горами и т.д.). Все это превращает субъекта в максимально фронтирный или лиминальный персонаж. В этом плане удивительно точнее виденье русской литании как некоего ритуала перехода мы видим у Нэнси Рис, полагавшей, «что что литании ритуализировали русскую речь, и благодаря их появлению она часто переходила из плана обычного разговора или нарратива в возвышенный план ритуала» (2005, стр. 164). Сказанное в отношении обычного разговора, беседы, еще более верно в отношении поэтического нарратива. Этот ритуал она называет лиминальным ритуалом, что еще больше сближает нас с понятием фронтирной лиминальности. Особые характеристики лиминального персонажа указывал и В. Тэрнер: «Свойства лиминальности или лиминальных *personae* («пороговых людей») непременно двойственны, поскольку и сама лиминальность, и ее носители увертываются или выскальзывают из сети классификаций, которые обычно размещают

¹ Тема российской гетеротопии разбирается нами в нашей другой статье «Миры и меры России», представленной в издательство.

«состояния» и положения в культурном пространстве. Лиминальные существа ни здесь, ни там, ни то, ни се; они – в промежутке между положениями, предписанными и распределенными законом, обычаем, условностями и церемониалом. Поэтому их двусмысленные и неопределенные свойства выражаются большим разнообразием символов в многочисленных обществах, ритуализирующих социальные и культурные переходы. Так, лиминальность часто уподобляется смерти, утробному существованию, невидимости, темноте, двуполости, пустыне, затмению солнца или луны» (Символ и ритуал, стр. 169).

Если учесть, что концепцию лиминальности В. Тернер «позаимствовал» у Арнольда ван Геннепа, обратимся и к самому Геннепу, у которого вопрос «фронтирности» обозначен еще острее. К сожалению русский перевод утратил ряд важных особенностей оригинального текста. Вторая глава Геннепа была посвящена именно пространственному переходу (точнее выходу) из своей нормативной территории за ее пределы (*marge*) (1981, р. 19). Выходя за рамки своей территории, субъект, по выражению Геннепа, «плавает между двух миров»¹ (стр. 24). Все это, как нам кажется, «подвешивает» субъекта в состоянии неопределенности, лишает его нормативности. Пребывание субъекта в новом для него пространстве лиминальности (как природном, так и идеальном) заставляет его меняться, постоянно совершая переход не только пространственный, но и поведенческий, т.е. трансгрессировать (Якушенков & Якушенкова, 2014).

Не исключено, что именно эта утрата определенности и заставляет человека действовать, выходя за рамки нормы. Но нередко этот лиминальный переход есть всего лишь следствие фрустрации, тоске об утраченном либо не возможности достичь желаемого. И подобная лиминальная модальность, точнее лиминальный или фронтирный *modus vivendi* вряд ли следует считать исключительно русской чертой. Интересный пример подобного поведения описывает М. Ходарковский в своей монографии «Горький выбор», посвященной русскому казаку (этническому чеченцу) Семену Атарщикову (Ходарковский, 2016). Семен Атарщиков, находящийся на службе в русской армии, корнет, переводчик, пользующийся уважением начальства, в 1841 г. вдруг неожиданно переходит на сторону врага, принимает ислам, берет мусульманское имя Магомед и становится хаджретом, беря на себя обязанность до конца сражаться с неверными, т.е. бывшими своими друзьями и сослуживцами – русскими казаками. Этот акт трансгрессии он совершает после сильной депрессии, вызванной смертью его детей, умерших во время эпидемии.

¹ «Il flotte entre deux mondes»

Через некоторое время он вновь возвращается в русскую армию, просит императора о помиловании, получает его, но затем вновь неожиданно уходит в горы. Эта трансгрессия – есть яркое выражение утраты определенности, когда фронтирная личность, оказывается в состоянии утраты. При наличии и без того множественной идентичности, С. Атарщиков, как и многие другие фронтирные личности (лиминальные персонажи) стремится достичь определенности, выходом за предел существующего положения путем поиска новой определенности. Статус хаджрета – оказывается своеобразным аналогом русского удальца. Интересно, что географическое пространство Атарщикова, в котором он оказывается, не является чем-то новым и непривычным для него. Напротив, он бежит в горы для возвращения в это привычное пространство, но в плане культурного пространства, он остается лиминальной личностью, сдвигаясь в сторону максимальной удалости. Возможно, что принятие на себя статуса удальца в подобных случаях является защитным актом субъекта для подтверждения своей значимости в их глазах и в собственном мнении. Не беремся делать окончательные выводы, но как нам кажется, со схожей ситуацией мы встречаемся в трансгрессивном поведении С. Разина, утопившего персидскую княжну.

Если верить описанию этого инцидента голландским корабелом и путешественником Яном Стрейсом, находившимся в это время в Астрахани, то мы сталкиваемся с поведением С. Разина, аналогичным описанному выше: депрессия, тоска и следующий за этим экстремальный поступок, плохо поддающийся логике. Ян Стрейс так описывает это происшествие: «...Мы еще раз посетили его и застали на реке в лодке, выкрашенной и вызолоченной. Здесь он пил и веселился с некоторыми из старшин. Около него сидела Персидская княжна, которую он увез с ее братом во время последних набегов. Брата ее подарил он Астраханскому воеводе, а любимую им княжну оставил у себя. Пируя целый день, он напился допьяна: вот эта-то невоздержность стоила жизни несчастной Персиянке. Будучи сильно пьян, он облокотился о край лодки и, смотря задумчиво на Волгу, после нескольких минут молчания, вскричал: «Нужно признаться, ни одна река не может сравниться с тобою, и нет славнее тебя. Чем только я ни обязан тебе за то, что ты доставляла мне столько случаев отличиться, и за то, что дала средства скопить столько сокровищ? Я обязан тебе всем, что имею и даже тем, чем я стал. Но в то время, как ты составляешь мое богатство и осыпаешь меня благодеяниями, я испытываю неприятное чувство неблагодарности. Хотя бы это и произошло от бессилия, она все-таки не оправдывает меня и не лишает тебя права жаловаться на меня. Ты, может быть, поступаешь так даже теперь, когда я говорю, и мне кажется, что я слышу твои жалобы и упреки за то, что я не

позаботился предложить тебе что-нибудь. Ах, прости, любезная река! Я признаюсь, что обидел тебя и если этого признания недостаточно для того, чтобы успокоить твой справедливый гнев, я предлагаю тебе от чистого сердца то, что мне дороже всего на свете; нет более достойного изъявления моей благодарности, и ничто не может доказать лучше мое почтение за милости, которыми ты осыпала меня». С этими словами он подбегает к княжне, (хватает) ее и одетую в золотую парчу и разукрашенную жемчугом и драгоценными камнями бросает в реку. Бедная эта княжна заслуживала, без сомнения, лучшей участи, и все пожалели о ней. Не смотря на благородное происхождение и печаль от того, что была в власти человека жестокого и грубого, она тем не менее была бесконечно снисходительна к нему и никогда не роптала на него за свою неволю. Как бы ни был Разин груб, нужно полагать, что только в припадке сумасшествия, он мог совершить подобную жестокость: до этого случая он казался более справедливым, нежели бесчеловечным» (1880, стр. 91-92).

Разбирая эту ситуацию, Н.И. Костомаров замечает: «Этот случай заставляет подозревать, что злодейский поступок с княжною не был только бесполезным порывом пьяной головы. ...Увлечшись сам на время красотою пленницы, атаман, разумеется, должен был возбудить укоры и негодование в тех, которым не дозволял того, что дозволил себе, и, быть может, чтоб показать другим, как мало он может привязаться к женщине, пожертвовал бедною персиянкою своему влиянию на козацкую братию» (1994, стр. 373).

Мы также бы хотели подчеркнуть, что поступок этот никак нельзя считать ни выходкой пьяного человека, ни проявлением какой-то патологической склонности к насилию. Смерть княжны – это результат описанной модели поведения: тоска, депрессия (пусть и вызванная алкогольным опьянением) и выход за пределы стандартного поведения, максимальная трансгрессия – акт, направленный на своих сотоварищей, призванный максимально поразить их, привлечь их внимание и добиться их расположения. И не важно был ли реально данное событие, важно другое – эта модель поведения нашла повсеместное признание среди русского народа. Этому эпизоду посвятил А.С. Пушкин свое стихотворение «Как по Волге реке, по широкой», а песня «Из-за острова на стрежень» на стихи русского поэта и фольклориста Д.И. Садовникова поистине стала всенародной. Ее исполняли многие российские и советские певцы, по мотивам этой песни был снят первый российский игровой фильм «Понизовая вольница» (1908). Автору данной статьи приходилось слышать, что в 50-е гг. в Астраханском обкоме КПСС обсуждался вопрос о создании памятника Стеньке Разину, который бы изображал момент, когда «славный атаман» бросает персидскую княжну в Волгу. Памятник должен

был стоять посреди реки. К сожалению, у нас нет реальных фактов, чтобы подтвердить эти намерения местных партийных органов. Но функционирование подобных слухов уже само по себе примечательно.

Мотив «бесшабашного» поступка, граничащего с какой-то экстремальной моделью поведения, изображает Юз Алешковского в своем «Окурочке». Как и во множестве подобных нарративов повествование начинается с описания лиминального пространства: «Из колымского белого ада / Шли мы в зону в морозном дыму, / Я заметил окурочек с красной помадой / И рванулся из строя к нему. / «Стой, стреляю!» – воскликнул конвойный, / Злобный пес разодрал мой бушлат. / Дорогие начальнички, будьте спокойны, / Я уже возвращаюсь назад» (1996, стр. 509). Именно экстремальное поведение субъекта, способность дойти до экзистенциального предела, все поставить на кон судьбы вызывает уважение в этом сообществе фронтирных субъектов:

«Проиграл тот окурочек в карты я, / Хоть дорожке был тыщи рублей. / Даже здесь не видать мне счастливого фарту / Из-за грусти по даме червей. // Проиграл я и шмотки и сменку, / Сахарок за два года вперед, / Вот сижу я на нарах, обнявши коленки, / Мне ведь не в чем идти на развод. // Пропадал я за этот окурочек, / Никого не кляня, не вина, / Господа из влиятельных лагерных урок / За размах уважали меня. // Шел я в карцер босыми ногами, / Как Христос, и спокоен, и тих, / Десять суток кровавыми красил губами / Я концы самокруток своих» (стр. 509). Это хлесткое «Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня» многое объясняет в поведении героя. Эта способность к риску, готовность дойти до предела – вот какие качества лиминального персонажа оказываются имеют максимальную ценность. Нет нужды напоминать, что и здесь этому экстремальному поведению предшествует грусть: «Даже здесь не видать мне счастливого фарту из-за грусти по даме червей».

Заключение

В заключении нам бы хотелось привести слова еще одной песни, которая в некоторой степени также имеет отношение к фронтирному пространству и к тому, что мы анализировали. Песня называется «Партизан Железняк», написана она на слова советского поэта Михаила Голодного: «В степи под Херсоном — / Высокие травы, / В степи под Херсоном — курган. / Лежит под курганом, / Заросшим бурьяном, / Матрос Железняк, партизан. // Он шел на Одессу, / А вышел к Херсону — / В засаду попался отряд» (Голодный, стр. 16).

Мы вынуждены признать, что, анализируя «felt-quality of space», мы, как и партизан Железняк, вдруг неожиданно оказались в дали от того места, куда двигались. От фронтирного пространства мы перешли (вполне

ожиданно) к фронтирному или лиминальному персонажу. И здесь нет ничего удивительного. На этот факт обращал еще Ифу Туань в своей антологии «Дорогие коллеги» он поясняет, что, когда он был еще маленьким мальчиком, его любимой диорамой в музее естественной истории в Сиднее была диорама, на которой были изображены динозавры, изображенные на берегу моря. Диорама была восхитительной, динозавры были изображены на фоне изумительного пейзажа, на горизонте которого заходило солнце. Вокруг динозавров была представлена буйная растительность. И. Туань уверен, что палеонтологи серьезно постарались, чтобы достоверней изобразить пейзаж. Но это не освобождает его от главного вывода: «Человека не было в Меловой период! Так какой я должен сделать вывод? Диорама не отражает реальности – это чистый вымысел?» (2002, стр. 3).

Именно поэтому задача выявления «felt-quality of space» не могла привести нас кроме как к субъекту этого восприятия. И субъективность этих чувств была во многом детерминирована пространством в широком смысле этого слова, т.е. множеством факторов, которые заставляли его действовать определенным образом. Лиминальный пейзаж порождал лиминальные чувства, вырывавшиеся в особое пороговое поведение. Выраженные в виде литании чувства по отношению к своему «пространственному расположению», как мы видим доминируют в множестве нарративов как в российском дискурсе XIX, так и в советском дискурсе первой половины XX в. Сюжетное совпадение этих нарративов, описывающих фронтирное пространство, было обусловлено тем, какую роль выполняли эти субъекты в данном пространстве. Оказавшись там не по своей воле, лишенные прав и тяготеющие своей судьбой, тоскующие по родным просторам, доведенные до отчаяния, они легко переходили тонкую грань нормативности, совершали самые различные акты трансгрессии. Именно этот их эмоциональный и поведенческий надрыв, готовность выйти за предел, перейти черту был так близок русскому народу. «Безумству храбрых поем мы песню!», – восклицал Горький. Этот переход от тягот жизни к эмоциональному и экзистенциальному рубежу – типичный пример поведения в особых пространствах – гетеротопии. И учитывая тот факт, что российское пространство в большинстве случаев и являлось фронтирной гетеротопией, то именно такой *modus vivendi* и становился нормой, получающий всеобщее одобрение. Из маргинального он постепенно превращался в нормативный. И пространство здесь играло важнейшую роль.

Правда, здесь нам хотелось бы добавить, что хотя мы и называли большинство наших текстов литаниями, однако, мы согласны с Н. Рис, что литания – женский жанр. Представленные нами литании – это совершенно

иное. По сути, это крик, но не плач, выражаясь лагерным жаргоном, «предъява», которую предъявляет субъект миру, заявляя свое право на ответный вызов. Доведенный до предела в этом лиминальном пространстве, он готов действовать также лиминально, совершая действия, которые могут потрясти весь мир.

Но было бы неверно закончить анализ «felt-quality of space» на этом. Это лишь первая часть нашего анализа. В следующей нашей статье мы попытаемся продолжить наш анализ, представив иную сторону этого фронтального пространства и иную модель поведения в нем.

Список литературы:

1. Foucault, M. (1986). Of Other Spaces. *Diacritics*. 1986., 16, 22-27.
2. Genep, A. v. (1981). *Les Rites de Passage*. Paris: A. et J. Picard.
3. Ries, N. (1997). *Russian Talk: Culture and Conversation during Perestroika*. New York: Cornell University Press.
4. Tuan, Y.-F. (2001). *Space and Place: The Perspective of Experience*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
5. Tuan, Y.-F. (2002). *Dear Colleague: common and uncommon observations*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
6. Tuan, Y.-F. (2003). On Human Geography. *Daedalus*, 132, стр. 134-137.
7. Агафонов, О. (Ред.). (1987). *Русские народные песни*. Москва: Музыка.
8. Алешковский, Ю. (1996). *Собрание сочинений в трех книгах (Т. 3)*. Москва: ННН.
9. Высоцкий, В. С. (1988). *Собрание стихов и песен в трех томах*. Apollon Foundation & Russica Publishers.
10. Высоцкий, В. С. (1997). *Собрание сочинений в четырех книгах. Книга вторая. Мы вращаем Землю (Т. 2)*. Москва: Надежда.
11. Голодный, М. (1947). *Стихотворения: 1922-1947*. Москва: Московский рабочий.
12. Достоевский, Ф. М. (2011). *Дневник писателя (Т. 1)*. Москва: Книжный клуб.
13. Жемчужников, А. м. (1910). *Стихотворения (Т. 1)*. С.-Петербург: М.М. Стасюлевич.
14. Заболоцкий, Н. (1991). *История моего заключения*. Москва: Библиотека "Огонек".
15. Костомаров, Н. И. (1994). *Бунт Стеньки Разина. Исторические монографии и исследования*. Москва: Чарли.
16. Лефевр, А. (2015). *Производство пространства*. Москва: Strelka Press.
17. Лопатин, Н. М., & Прокунин, В. П. (1956). *Русские народные лирические песни*. Москва: Государственное музыкальное издательство.

- 18.Лотман, Ю. М. (2003). Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» . Комментарий. В Ю. М. Лотман, Пушкин. СПб: Искусство-СПб.
- 19.Мельников-Печерский, П. И. (1909). В лесах. В П. И. Мельников-Печерский, Полное собрание сочинений (Т. 2). С.-Петербург: Т-ва А.Ф. Марксъ.
- 20.Путешествия по России голландца Стрюйса. (1880). Русский архив, 5-108.
- 21.Пушкин, А. С. (1950). Полное собрание сочинений (Т. 2). Москва-Ленинград: Академия наук СССР.
- 22.Рис, Н. (2005). "Русские разговоры": культура и речевая повседневность эпохи перестройки. Москва: Новое литературное обозрение.
- 23.Субботина, Т. В. (2011). Локус, топос, урбоним, микротопоним: к вопросу о содержании пространственных понятий. Вестник ЧелГУ, 111–113.
- 24.Тишков, В. А. (2012). Три карты. теория и общие подходы к проблеме. В В. К. Малькова, & В. А. Тишков (Ред.), Культура и пространство: историко-культурные бренды и образы территорий, регионов и мест (стр. 7-26). Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН.
- 25.Толстой, А. К. (1963). СОбрание сочинений. Москва.
- 26.Тэрнер, В. (1983). Символ и ритуал. Москва: Восточная литература.
- 27.Хмельницкий Б, Яесс Ю. (1996). Черный ворон. Песни дворов и улиц. (Т. 2). (В. Кавторин, Ред.) СПб: Пенаты.
- 28.Ходарковский, М. (2016). Горький выбор: верность и предательство в эпоху российского завоевания Северного Кавказа. Москва: Новое литературное обозрение.
- 29.Якушенков, С. Н. (2015). Топофилия vs топофобия как когнитивные парадигмы фронтального пространства. Каспийский регион: политика экономика культура, 261-266.
- 30.Якушенков, С. Н., & Романова , А. П. (2016). Хоррористический ландшафт Хоры, или Платон vs Тёрнер. Вопросы философии, 73-81.
- 31.Якушенков, С. Н., & Якушенкова, О. С. (2013). Изобилие ресурсов как одна из черт фронтальных территорий. Человек. Сообщество. Управление, стр. 4-15.
- 32.Якушенков, С. Н., & Якушенкова, О. С. (2014). Трансгрессия в условиях гетеротопных пространств фронта. Каспийский регион: политика, экономика, культура, 276-284.

**GLOOMY CLOUDS COVER THE BORDER - THE STERN
LAND IS ENVELOPED IN SILENCE**

Yakushenkov S.N.

Yakushenkov Sergei Nikolayevich, Astrakhan State University, Astrakhan,
414056, Tatischeva St., 20A.
Email: shuilong@mail.ru

The article discusses the problem of perception of frontier space in Russian culture. The author tries to show that the so-called "felt-quality of space" or the sense of space by a subject is largely a reflection of the special living conditions. Taking as a basis the analysis of the poetic narratives associated with the GULAG past of our country, the author shows that this space is perceived in a negative categories, bringing its concepts to hell. Locus in these narratives is drowning in a Topos, getting characteristics of uncertainty, as the vast expanses of the North dissolve the place (Locus) in the space (Topos). Space (natural and social) suppresses the person, breaks him. That is why one of the most common genres on this topic, is the litany, which intersperses the theme of escape, exodus, etc.. The Sadness of the subject or depression give way to his riot, explosion, forcing him to commit reckless deeds. Another theme of these litanies is a death of a hero in the desert/mountains, steppes, etc.. Before the death the hero speaks to his friends, co-workers, etc., Frontier (endless steppes, tundra, etc.) is perceived as alien to human space. Being here, he changes, committing acts of transgression. These are the acts that allow the liminal personages to establish themselves in the new space, express themselves in a new mode. This article is the first part of a larger work dedicated to the perception of space in Russian culture.

Key words: frontier, space, topos, locus, liminal character, litany, lament, transgression, narrative, modus vivendi, behavioral patterns, heterotopia, the Russian culture

References

1. Agafonov, O. (Ed.). (1987). Russian folk songs. Moscow: Muzyka.
2. Aleshkovsky, J. (1996). A collection of essays in three books (vol. 3). Moscow: NNN.
3. Dostoevsky, F. M. (2011). Diary of a writer (vol. 1). Moscow: Knizhnyy Klub.
4. Foucault, M. (1986). Of Other Spaces. *Diacritics*. 1986., 16, 22-27.
5. Gennep, A. v. (1981). *Les Rites de Passage*. Paris: A. et J. Picard.
6. Golodnyy, M. (1947). *Poems: 1922-1947*. Moscow: Moscovskiy rabochiy.
7. Khmel'nitsky B, Jess Y. (1996). *Black crow. Songs of the streets and yards*. (Vol. 2). (V. Kavtorin, Ed.) SPb: Hearth And Home.
8. Khodarkovsky, M. (2016). *Bitter choices: loyalty and betrayal in the age of the Russian conquest of the North Caucasus*. Moscow: New literary review.

9. Kostomarov, N. I. (1994). *Revolt Of Stenka Razin. Historical monographs and research.* Moscow: Charlie.
10. Lefebvre, A. (2015). *The production of space.* Moscow: Strelka Press.
11. Lopatin, N. M., & Prokunin, V. P. (1956). *Russian lyrical folk-songs.* Moscow: State music publishing.
12. Lotman, Yu. M. (2003). *The Novel Pushkin's "Eugene Onegin" . Review.* In Yu. M. Lotman, Pushkin. SPb: Iskusstvo-SPb.
13. Melnikov Pechersky, P. I. (1909). *In the woods.* In P. I. Melnikov-Pechersky, *Complete works (vol. 2).* S.-Petersburg: T-VA A. F. Marks.
14. Pushkin, A. S. (1950). *Complete works.* Moscow-Leningrad: Academy of Sciences of the USSR.
15. Ries, N. (1997). *Russian Talk: Culture and Conversation during Perestroika.* New York: Cornell University Press.
16. Ries, N. (2005). "Russian talk": culture and speech ordinariness era of perestroika. *Moscow: New literary review.*
17. Subbotina, T. V. (2011). *Locus, topos, urbanism, microtoponyms: to the question about the content of spatial concepts.* *Bulletin of The Chelyabinsk State University,* 111-113.
18. Tishkov, V. A. (2012). *Three cards. The theory and General approaches to the problem.* In V. K. Malkova, & V. A. Tishkov (Ed.) *Culture and space: historical and cultural brands and the images of territories, regions and places* (pp. 7-26). Rostov-on-don: SSC RAS.
19. Tolstoy, A. K. (1963). *Collection of Works.* Moscow.
20. *Trip to Russia of the Dutchman Struise. (1880).* Russian archive, 5-108.
21. Tuan, Y.-F. (2001). *Space and Place: The Perspective of Experience.* Minneapolis: University of Minnesota Press.
22. Tuan, Y.-F. (2002). *Dear Colleague: common and uncommon observations.* Minneapolis: University of Minnesota Press.
23. Tuan, Y.-F. (2003). *On Human Geography.* *Daedalus,* 132, стр. 134-137.
24. Turner, V. (1983). *Symbol and ritual.* Moscow: Eastern literature.
25. Vysotsky, V. S. (1988). *A collection of poems and songs in three volumes.* Apollon Foundation & Russica Publishers.
26. Vysotsky, V. S. (1997). *Works in four books.* Moscow: Hope.
27. Yakushenkov S. N. (2015). *Topophilia vs topophobia as a cognitive paradigms of frontier space. The Caspian region: politics economy culture,* 261-266.
28. Yakushenkov S. N., & Romanova, P. A. (2016). *Horroristic landscape of Choirs, or Plato vs Turner. Questions of philosophy,* 73-81.
29. Yakushenkov S. N., & Yakushenkova, O. S. (2013). *The abundance of resources as one of the characteristics of frontier territories. People. Community. Management,* pp. 4-15.

30. Yakushenkov S. N., & Yakushenkova, O. S. (2014). Transgression in terms of the heterotopic spaces of the frontier. *The Caspian region: politics, economy, culture*, 276-284.
31. Zabolotskiy, N. (1991). *The story of my imprisonment*. Moscow: Ogoniek.
32. Zhemchuzhnikov, A. M. (1910). *Poems (Vol. 1)*. S.-Petersburg: M. M. Stasyulevich.

ИНТЕГРАЦИЯ КАЛМЫКОВ В ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ.

Черник М.В.

Черник Мария Владимировна, Астраханский государственный университет,
414056, Астрахань, Россия, ул. Татищева, 20а. Эл. почта: chernik-max@mail.ru

Статья посвящена анализу особенностей интеграции калмыцкого населения в правовую систему Российской империи в конце XVIII– первой половине XIX в.

После ликвидации государственности калмыцкого народа российским правительством была начата работа по реализации принципов организации и функционирования системы российского судопроизводства на территории Калмыцкой степи. Попытки ведения местного (национального) законодательства в единое законодательное пространство страны завершились тем, что была изменена подсудность дел и фактически перераспределены полномочия по их рассмотрению. Постепенное распространение российского законодательства в национальном судопроизводстве привело к сокращению перечня дел, рассматриваемых по древним калмыцким законам. Несмотря на это, судебная практика, вводимая на территории Калмыцкой степи, позволяла учитывать социальную жизнь и быт калмыков, специфику национальной ментальности и особенности правосознания.

При сохранении отдельных местных традиционных структур и институтов власти в Калмыцкой степи все более усиливалась роль российских чиновников, а суды находились под жестким надзором администрации.

Существенным минусом этого процесса стало то, что новые порядки вводились сверху и носили искусственный характер. Калмыцкое правосознание оставалось прежним и не могло поменяться так быстро, как того хотело правительство. Новое судопроизводство стало носить формальный характер, а российские суды, к компетенции которых была отнесена значительная часть калмыцких дел, сами нуждались в реформировании. Процесс интеграции протекал достаточно сложно и к середине XIX в. не был завершен. Это привело к тому, что во всех улусах сложилась различная практика в отношении судопроизводства и подсудности улусных Зарго, а калмыки потеряли всякое доверие к своему суду, осуществлявшему судопроизводство по российским законам, и судьям, не имевшим практического опыта обращения к нормам калмыцкого обычного права.

Ключевые слова: Астраханская губерния, Калмыцкая степь, суд Зарго, судопроизводство, правосознание, правовая система.

После откочевки в конце 1771 г. значительной части калмыков в Джунгарию, Калмыцкое ханство было упразднено, фактически была ликвидирована государственность калмыцкого народа (Максимов, 2002, стр. 152). Калмыцкая степь вошла в состав Астраханской губернии, и

именно с этого времени был начат процесс введения калмыцкого народа в единое российское правовое пространство. Традиционная картина мира калмыцкого общества начала трансформироваться под воздействием внешних факторов (политических, экономических и социальных). Как отмечают отечественные ученые С.Н. Якушенков и О.С. Якушенкова (2016), конкретный набор подобных факторов и создает национальную картину мира, выполняющую важную функцию адаптации к различным условиям, как природным, так и социальным (стр.9).

Введение новых порядков управления и правовой системы было обусловлено необходимостью решения правительством ряда местных задач, что, в свою очередь, требовало учета национальной специфики территории. Характерной особенностью этого процесса являлась его постепенность, государство понимало, что единовременно ввести нормы российского права и изменить правовое сознание калмыцкого народа невозможно и нецелесообразно, так как насильственное насаждение новых порядков могло привести открытому неприятию, к конфликту. Кроме того правительство само еще находилось в поисках путей совершенствования управления различными национальными территориями, в поисках форм и механизмов взаимодействия центральных и местных властей с инородцами.

Анализ нормативно-правовых документов, касающихся управления калмыками показывает, что процесс интеграции калмыцкого населения в правовую систему Российской империи включал в себя несколько составляющих.

Первой из них являлось изменение структуры и состава органов судебной власти для калмыцкого населения.

В 1772 г. при канцелярии калмыцких дел, являвшейся специальной структурой канцелярии астраханского губернатора, осуществлявшее общее управление калмыцкими делами, был учрежден судебный орган – Суд Зарго. В его состав вошли три зайсанга (от торгоутовского, дербетовского и хошоутовского улусов). Зарго не обладал самостоятельностью, так как являлся частью администрации, а его решения приобретали силу официального документа, только после утверждения их губернатором. В 1786 г. связи с реорганизацией общего калмыцкого управления и судебной реформой России Зарго был упразднен, а его функции преданы астраханским уездным судам. Однако, спустя 14 лет, указом Павла I был учрежден Совет при наместнике – Зарго в составе восьми человек (светских и духовных лиц с учетом равного представительства зайсангов от улусов) и представителя российской центральной власти с правом решающего голоса (Максимов, 2002, стр. 156).

В 1801 г. была учреждена должность Главного пристава «при всем калмыцком народе» с помощниками – частными приставами по улусам. Одной из основных его функций являлось участие в судебных разбирательствах, но уже в 1803 г. в целях устранения распрей и споров, и Зарго, и Главный пристав указом Александра I были подчинены на местном уровне астраханскому военному губернатору. Постепенно Зарго был лишен административно-управленческих функций и полностью превращен в судебный орган.

Правила «Об управлении калмыцким народом» 1825 г. возложили на Суд Зарго функции окружного органа управления. В его состав входило восемь человек: два гелюнга и шесть владельцев и зайсангов (ПСЗ РИ, Т. 40, №30290, стр. 158). Несмотря на то, что члены Зарго избирались в улусах, утверждение производилось Комиссией калмыцких дел – коллегиальным учреждением, возглавляемым астраханским губернатором. Фактически суд Зарго работал под контролем, так как содействовать его работе должен был один из специально прикрепленных помощников Главного пристава, а документирование вести один из его переводчиков.

Дела, связанные со спорами, оскорблениями личности, разбирались в улусных судах всесословного характера – улусных Зарго. Их состав избирался на год от представителей зайсангов и почетных лиц. Улусные судью выступали как посредники, обладая правами словесных судей (ПСЗ РИ, Т. 40, №30290, стр. 160).

В 1835 г. был опубликован новый нормативный документ, изменивший статус Калмыцкой степи и систему ее управления, – «Положения об управлении калмыцким народом, кочующим в Астраханской губернии и Кавказской области и штат сего управления». Высшим должностным лицом от Министерства внутренних дел в системе управления стал астраханский военный губернатор. Значительное место в его деятельности занимал контроль правильности решений Зарго. Если решение суда соответствовало требованиям закона, и было правильно оформлено, губернатор давал согласие на его исполнение. В случае несогласия, он должен был со своим заключением обратиться в Правительствующий Сенат (ПСЗ РИ, Т.10, Ч.2, № 7560а, стр. 19).

Суд Зарго, рассматривавший гражданские, уголовные, а так же семейные дела, по своему статусу, был практически приравнен к губернской палате уголовного и гражданского суда (реформы 1797 г.). В его состав входили: председатель, назначаемый императором из российских чиновников по представлению министра юстиции; два советника, назначаемые Министерством юстиции из российских чиновников по представлению астраханского военного губернатора; два

ассессора, избираемые из нойонов сроком на три года и утверждаемые в должностях военным губернатором.

Суды первой инстанции по Положению были представлены улусными судами. Они рассматривали уголовные (воровство от 5 до 20 руб.), гражданские дела и дела по опекам между калмыками разных улусов, и с посторонними лицами, когда они не прекращались мировым добровольным разбором (ПСЗ РИ, Т.10, Ч.2, № 7560а, стр. 31). В состав улусного Зарго входили: нойон-владелец или правитель улуса (председатель); улусный попечитель, его помощник; два заседателя, избираемые из зайсангов сроком на три года и утверждаемые в этой должности военным губернатором.

В улусных судах дела принимались к рассмотрению по предписаниям Совета калмыцкого управления, Суда Зарго, улусного попечителя, а так же по просьбе частных лиц. Спорные дела незначительного характера могли быть разрешены в улусном суде при помощи посредника, избранного спорящими. Решение посредника считалось окончательным в соответствии с Положением о третейских судах 1831 г. Улусные Зарго находились в непосредственном подчинении у Совета калмыцкого управления и перед ним ежегодно отчитывались о финансовых расходах и ежемесячно – о рассматриваемых делах и содержащихся под арестом.

23 апреля 1847 г. Николаем I было утверждено «Положение об управлении калмыцким народом», основной целью которого было «управление народом сделать проще и по возможности сблизить в правилах и порядке с управлением государственными крестьянами, дабы таким образом, водворяя между калмыками постепенно русские начала, приуготовить их к слиянию с коренными жителями, подобно другим инородцам» (Максимов, 2002, стр.183).

В ноябре 1848 г. был упразднен областной суд Зарго, а все его функции постановлением Сената были переданы Астраханской палате уголовного и гражданского суда.

Положение 1847 г. изменило состав улусных Зарго, увеличив их штат. Была введена еще одна должность члена суда: старшим членом являлся улусный попечитель, младшим – помощник улусного попечителя (Плюнов, 1922, стр. 56).

Зарго работали под наблюдением улусного попечителя и контролировались не только Астраханской палатой уголовного и гражданского суда, но и Астраханской палатой государственных имуществ, которой ежемесячно должны были представлять отчеты о своей работе (РГИА, Ф.1405, Оп. 63, Д. 7541, Л. 28). Улусные Зарго относились к всесловным судам, но решения, касавшиеся владельцев и зайсангов,

обязательно должны были утверждаться Астраханской палатой уголовного и гражданского суда.

Таким образом, несмотря на сохранение отдельных местных традиционных структур и институтов власти в Калмыцкой степи русский элемент все более усиливался: русские люди назначались на высшие должности областного и улусных управлений и судебных органов (Максимов, 2002, стр. 183). Суды находились под жестким контролем местной и центральной администрации.

Второй и, пожалуй, главной составляющей процесса интеграции калмыцкого населения стало применение в судопроизводстве российских законов.

Учрежденный в 1772 г. Зарго осуществлял судопроизводство в соответствии с нормами «Великого Уложения», законами Дондук-Даши 1758 г. и древним калмыцкими обычаями. А уголовные дела между калмыками и соседним населением должны были решаться им согласно российскому законодательству.

Однако постепенно полномочия Зарго ограничиваются. Так, в первой четверти XIX в., в подсудности Зарго остались лишь гражданские дела с ценой иска до 25 руб. Более крупные гражданские дела, а так же все уголовные дела решались в уездных, верхних земских судах, в астраханской губернской судебной палате в соответствии с российскими законами

Изменение подсудности дел и фактическое перераспределение полномочий по их рассмотрению, не решили проблему введения местного (национального) законодательства в единое законодательное пространство страны. В связи с этим указом Александра I от 9 марта 1825 г. Комиссии калмыцких дел предписывалось проанализировать имеющееся калмыцкое законодательство и совместно с владельцами улусов, представителями духовенства выработать новые законоположения, которые соответствовали бы реальному положению Калмыкии, времени и российским законам.

Следующим шагом стало создание основ новой правовой системы Калмыцкой степи. Эту задачу успешно решили Правила 1825 г., которые заложили новые отрасли права (гражданское, уголовное, административное и процессуальное право), а так же новую систему судебных органов, которые, обладая некоторыми национальными элементами, вписывались в российской единое законодательное и судебное пространство.

Суд Зарго отныне рассматривал гражданские дела трех категорий: сословные, всесословные и имущественные. Уголовные дела же подлежали рассмотрению в российских судах на основе российских законов.

Правила 1825 г. впервые определили виды уголовных преступлений в Калмыцкой степи: измена, неповиновение властям, возмущение, побег за границу со злыми намерением, вместе со злодеями, убийство, грабеж, насилие, преднамеренное провоцирование других на эти действия, изготовление фальшивых денег, воровство свыше трех раз (ПСЗ РИ, Т. 40, № 30290, стр. 159).

Примечательно, что говоря о «воровстве», законодатель оговорил количество совершенных правонарушений, после которого оно считалось преступлением. Это является ярким свидетельством того, что процесс введения норм российского права в калмыцком обществе носил не механический характер, а учитывал специфику национальной ментальности и особенности правосознание. Так, например, анализ судебных дел показывает, что самым распространенным видом преступления в Калмыцкой степи была кража скота. Среди калмыков это называлось «угоном», и это было связано с тем, что в правосознании калмыцкого населения «кража скота» – это уголовное наказуемое деяние, а «угон скота» – нет. Угон скота у калмыков имел характер молодечества, являлся свидетельством доблести и геройства. Он был причислен к преступлениям, не считающимся среди калмыков тяжкими, и, по сути, был выведен из уголовной юрисдикции. Подобные дела могли рассматриваться на уровне сельского самоуправления (хотонный сход), а окончательное решение утверждалось Зарго. Судить о том, какое значение в калмыцком быту имел этот род преступлений, можно было по тому, что не было примера, чтобы хотя бы одно из них раскрывалось. Это странное, но действительно существовавшее явление объяснялось тем, что, как правило, весь хотон знал, кто угнал скот. Вору было не скрыться от соседей, поэтому он обречен был вернуть скотину хозяевам. Если же скот не возвращался, то «героя» судили. Однако и в этом случае, виновный чаще всего не подвергался наказанию согласно закону, так как калмыки сами покрывали друг друга и, добиваясь только материального вознаграждения, вступали между собой в миролюбивое соглашение (ГААО, Ф. 1, Оп. 11, Д. 505, Л. 39.).

Судопроизводство в улусных судах осуществлялось в соответствии с древними законами калмыков, («Степным Уложением» 1640 г., законом хана Дондук-Даши 1758 г. и др.), и правовыми обычаями, а также в соответствии с новыми статьями уголовного и гражданского права.

Положение 1835 г. предусматривало так же ряд изменений в системе судопроизводства. Суду Зарго предписывалось решать уголовные дела согласно российским законам, а «тяжебных же древними калмыцкими постановлениям, а в случае недостатка оных также законами российскими (ПСЗ РИ, Т.10, Ч.2, № 7560а, стр. 26). Изменению подверглось

судопроизводство в улусных Зарго, оно должно было производиться по инструкции, разработанной военным губернатором и утвержденной министерствами внутренних дел и юстиции. Гражданские дела и дела по опекунству разрешались в соответствии с калмыцкими законами, а дела уголовные, следственные и судебно-политические рассматривались в соответствии с нормами российских законов.

После ликвидации в 1848 г. областного суда Зарго как высшего судебного органа и передачи всех дел его подсудности в Астраханскую палату уголовного и гражданского суда, где правосудие осуществляли российские судьи, на русском языке и согласно нормам российского права, все внимание законодателя сосредоточилось на улусных судах.

Положение 1847 г. определило перечень дел, которые улусные Зарго рассматривали по древним калмыцким законам – гражданские дела, вопросы опекунства и имущественные споры между калмыками. Если же дела касались споров калмыков с «посторонними лицами» следовало разбирать дела по правилам для судебных мест первой инстанции (по российским законам) (Команджаев, 2010, стр. 170). Улусным Зарго в окончательном решении имущественных тяжб присваивались те же права и власть, как и общим судебным местам первой степени, то есть решение об имуществе, стоящем не более 30 руб., приводились в исполнение. По делам о проступках власть улусных Зарго в определении наказания и принятии окончательных решений ставилась в условия, которые были определены сельским судебным уставом для волостных расправ. Если стоимость имущества составляла более 30 руб., то недовольная сторона могла обратиться с апелляционной жалобой в Астраханскую палату уголовного и гражданского суда, при которой состоял особый чиновник по делам калмыцкого народа. При рассмотрении дел по уголовным преступлениям Зарго руководствовались общими российскими законами. Если наказание за проступок и преступление превышало полномочия улусного Зарго, то дело представлялось на ревизию в Астраханскую палату уголовного и гражданского суда, которая делала соответствующие предписания.

Еще одним примером того, что судебная практика, вводимая на территории Калмыцкой степи учитывала социальную жизнь и быт калмыков, являлось то, что при вынесении решений о денежных взысканиях в опись продажи имущества не могли включаться жизненно необходимые вещи (кибитка, одежда, семейные продовольственные припасы на четыре месяца, скот), если у ответчика было не более одного верблюда, двух лошадей, трех коров, десяти овец. Если виновный признавался имущественно несостоятельным, то он должен был заработать

деньги и в течение полугода уплатить долг (ПСЗ РИ, Т. 40, № 21144, стр. 363).

Несмотря на целенаправленную работу российского правительства по скорейшему включению калмыков в правовую и экономическую жизнь страны, правосознание калмыцкого населения оставалось прежним. Основная часть калмыцкого населения не знала российских законов и не признавала их правомочность, кроме того, серьезной проблемой стало незнание местным населением русского языка, так как именно русский был введен в качестве официального и обязательного языка делопроизводства. Положение 1835 г. и 1847 г. предписывало дела в суде Зарго производить на русском языке, но с обязательным переводом на калмыцкий язык. Русский язык признавался обязательным в делопроизводстве и в деловых сношениях. Для образования калмыков и распространения между ними русского языка, а так же для подготовки переводчиков и толмачей, при Палате Государственных имуществ Положением 1847 г. учреждалось специальное училище (ПСЗ РИ, Т. 40, № 21144, стр. 349).

Однако на практике введение российских законов и новых порядков судоустройства и судопроизводства привели к тому, что к середине XIX в. деятельность улусных Зарго перестала быть эффективной. Большая часть дел, поступающих в Зарго, прекращалась из-за невозможности найти виновных или доказать преступление. Все это свидетельствовало о некачественности и чрезмерном формализме, допускаемом в делопроизводстве суда. Кроме того, во всех улусах установилась разнообразная практика в отношении судопроизводства, подсудности и компетенции Зарго. Все вышеперечисленные недостатки привели к тому, что калмыцкое население потеряло всякое доверие к своему суду и судьям. В правовой жизни населения царил путаница и неопределенность (РГИА, Ф. 1405. Оп. 93, Д. 10952, Л. 25). Министр внутренних дел В.К. Плеве указывал, что хотя у калмыков и существовало обычное право, но с ослаблением феодальной зависимости этому праву при новой организации улусных Зарго (Положение 1847 г.) не было отведено надлежащего места, и правосудие стало отправляться по формальным доказательствам с применением лишь правовых норм, указанных в законе (РГИА. Ф. 1405. Оп. 93. Д. 10967. Л. 7.). Представленное улусным Зарго в гражданских делах право руководствоваться древними калмыцкими постановлениями на практике не осуществлялось вовсе, так как представители от народа – заседатели Зарго, участвуя в суде вместе с чинами улусной администрации, естественно, находились под их влиянием, не проявляли никакой инициативы и не имели практического опыта обращения к нормам калмыцкого обычного права.

Библиографический список

1. ГААО (Государственный архив Астраханской области) Ф. 1, Оп. 11, Д. 505,
2. Команджаев, А.Н. (2010) Законодательство калмыцкого кочевого общества XVIII-XIX вв. в системе российского права. *Вестник Прикаспия: археология, история, этнология*, №.2, стр. 166-171.
3. Максимов, К.Н., (2002) *Калмыкия в национальной политики, системе власти и управления России (XVII в. – XX в.)*. М.: Наука. 524 с.
4. Плюнов, Ф.И. (1922) Административное устройство, суд, сословные отношения, права и повинности калмыков по Положению 1847 года. *Ойратские известия*. № 3-4, стр.59-65.
5. *ПСЗ РИ (полное собрание законов Российской империи)* (1830) Собрание 1-е. Т. 40. № 30290. СПб.: Типография II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии.
6. *ПСЗ РИ* (1834) Собрание 2. Т.10. Прибав. к Т. IX № 7560а. СПб.: Типография II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии.
7. *ПСЗ РИ* (1847) Собрание 2-е. Т. 22. № 21144. СПб.: Типография II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии
8. РГИА(Российский государственный исторический архив) Ф. 1405, Оп. 93, Д. 10952.
9. РГИА, Ф. 1405, Оп. 93, Д. 10967.
10. Якушенков, С.Н., Якушенкова, О.С. (2016) «Власть земли»: формирование новой инаковости в условиях фронта. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 9-21.

**INTEGRATION OF KALMYKS INTO LEGAL SYSTEM OF THE
RUSSIAN EMPIRE AT THE END OF XVIII – THE FIRST HALF OF
THE XIX CENTURIES**

Chernik M.V.

Chernik Maria Vladimirovna, Astrakhan State University,
414056, Astrakhan, Russia, Tatishcheva, 20a . E – mail: chernik-max@mail.ru

Article is devoted to the analysis of features of integration of the kalmyk population into a system of law of the Russian Empire at the end of XVIII– the first half of the 19th century.

After liquidation of statehood of the kalmyk people by the Russian government work on implementation of the principles of the organization and functioning of system of the Russian legal proceedings in the territory of the Kalmyk steppe was begun. Attempts of maintaining the local (national) legislation in single legislative space of the country came to the end with the fact that cognizance of affairs was changed and powers on their consideration are actually redistributed. Gradual distribution Russian led the legislation in national legal proceedings to reducing the list of the cases considered under ancient Kalmyk laws. Despite it, the court practice entered in the territory of the Kalmyk steppe allowed to consider social life and life of kalmyks, specifics of national mentality and feature of sense of justice.

When preserving separate local traditional structures and institutes of the power in the Kalmyk steppe the role of the Russian officials more and more amplified, and courts were under tough supervision of administration.

Essential minus of this process was the fact that new orders were entered from above and had artificial character. The Kalmyk sense of justice remained the same and couldn't exchange as quickly as that was wanted by the government. New legal proceedings began to have formal character, and the Russian courts, to competence which a considerable part of the Kalmyk cases was referred, needed reforming. Process of integration proceeded rather difficult and to the middle of the 19th century wasn't complete. It led to the fact that in all uluses there was various practice concerning legal proceedings and cognizance the ulusnykh Zargo, and Kalmyks lost any trust to the court performing legal proceedings under the Russian laws, and the judges who didn't have practical experience of the appeal to regulations of the Kalmyk common law.

Keywords: Astrakhan province, Kalmyk steppe, Zargo's court, legal proceedings, sense of justice, legal system

Referenses:

1. GAAO (State Archives of the Astrakhan region). F. 1. Op. 11. D. 505.
2. Komandzhayev, A.N. (2010) The legislation of the Kalmyk nomadic society of the 18-19th centuries in system of Russian law. Messenger Prikaspiya: archeology, history, ethnology, No.2, p. 166-171.
3. Maximov, K.N., (2002) Kalmykia in national policy, system of the power and management of Russia (17th century – 20th century). M.: Science. 524 pages.
4. Plyunov, F.I. (1922) The administrative device, court, the class relations, the rights and duties of Kalmyks under the Provision of 1847. Oyratsky news. No. 3-4, pp. 59-65.
5. The COR RI. (Complete Collection of Laws of the Russian Empire).(1830) Meeting of the 1st. T. 40. No. 30290. SPb.: : Printing Division II Own HИH the Office
6. The COR RI. (1834) Meeting 2. T.10. Прибав. to T. IX \7560a 7560a. SPb.: Printing Division II Own HИH the Office
7. The COR RI. (1847) Meeting the 2nd. T. 22. No. 21144. SPb.: Printing Division II Own HИH the Office

8. RSHA (Russian State Historical Archives) F. 1405. Op. 93. D. 10952.
9. RSHA, F. 1405. Op. 93. D. 10967.
10. Yakushenkov S.N., Yakushenkova O.S (2016) «Power of land»: formation of new otherness in the conditions of frontier. Journal of Frontier Studies, № 1, pp. 9-21.

МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКА ИОАННА НИГРОВСКОГО НА НИЖНЕВОЛЖСКОМ ФРОНТИРЕ

Власова Н.В.

Власова Наталья Владимировна, научный сотрудник ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник», 414000, г. Астрахань, ул. Советская 15.

E-mail: PearlHeavenly77@yandex.ru

Статья посвящена миссионерской деятельности Астраханской епархии на Нижневолжском фронтире на примере противораскольнической и противосектанской работы астраханского священника-миссионера Иоанна Павловича Нигровского. Основная цель исследования видится автором, в первую очередь, в изучении и обобщении исторических, социокультурных, этнокультурных и конфессиональных факторов, оказавших влияние на развитие миссионерской деятельности на территории Астраханской епархии, из чего следует, что среди главных задач исследования будет, в первую очередь, анализ способов и методов миссионерской инициативы православного духовенства в начале XX столетия, а также в обобщении личного вклада священнослужителя Нигровского в развитие традиций миссионерского служения на Нижневолжском фронтире. С использованием концепции фронтир в статье проводится сравнительный анализ наиболее продуктивных методов деятельности православных проповедников среди сектантов и раскольников на территории Астраханской епархии. Использование микроисторического подхода даёт возможность выявления региональной специфики вопроса. Помимо этого методологической основой исследования послужили принципы историзма, научной объективности и системности, что обуславливает изучение различных явлений и исторических процессов во взаимосвязи их развития.

Ключевые слова: нижневолжский фронтир, Астраханская епархия, православие, миссионерство, священнослужитель, Иоанн Нигровский.

Вопрос о деятельности православных миссионеров как на территории Астраханской епархии так и на всей территории Нижнего Поволжья уже поднимался такими современными отечественными исследователями как д.и.н. Редькиной О.Ю., Тининой З.П. к.б.н, доцентом Канатьевой Н.С., епископом Ахтубинским и Енотаевским Антонием Азизовым и др. Важной источниковой базой для изучения данной темы служат Отчеты Православных миссионерских обществ, откуда можно почерпнуть сведения о членах этих обществ, источниках финансирования и результатах их деятельности. Данные отчеты были опубликованы в Астраханских епархиальных ведомостях, где в официальной части публиковались программы мероприятий православных проповедников и объявления о проводимых беседах с сектантами и старообрядцами.

Существенными для изучения вопроса являются материалы миссионерских съездов, проводившихся в Российской империи с 1887 по 1917 гг. и оказавших значительное влияние на становление системы миссионерства как в целом по стране, так и для отдельных регионов. Помимо этого среди источников, описывающих религиозную ситуацию в Поволжье, необходимо обратить внимание на материалы, собранные или созданные православным духовенством. Сюда можно отнести клировые ведомости и дела Астраханской духовной консистории.

Как отмечают некоторые из уже перечисленных выше исследователей, занимающихся вопросом миссионерства русской православной церкви среди сектантов и раскольников на Нижневолжском фронтире, Астраханская земля являлась для подобного рода деятельности наиболее благоприятной. Ввиду своей удалённости от центра, эта территория начиная со второй половины XVII–XIX в. стала регионом активного выхода крестьян-переселенцев из центральных губерний Российской империи. Одним из следствий этого процесса явилось распространение сектантских движений. Здесь были представлены практически все толки и согласия старообрядчества, а лидеры сект вели активную религиозную пропаганду среди православного населения. К тому же, на протяжении всего XIX в. в регионе происходил рост численности сектантов за счёт естественного прироста. К началу XX в. в астраханской губернии насчитывалось до 5300 душ раскольников различного толка и христианских деноминаций (Иеромонах Антоний 2012). Тем не менее, государственная политика главенствующую роль в консолидации провинций вокруг имперского центра отводила именно Русской православной церкви. Как следствие, перед епархиальными властями была поставлена задача организации внутренних православных миссий, целью деятельности которых должна была стать антистарообрядческая и антисектантская пропаганда. Для реализации поставленной задачи в регионе, специально для работы с уклоняющимися от православия, старообрядцами и сектантами, был создан специальный миссионерский орган – Астраханское Кирилло-Мефодиевское Братство, учреждённое в 1885 г. Его деятельность достаточно подробно освещена Н.С. Канатьевой в рамках её исследовательских работ «К истории Астраханского Кирилло-Мефодиевского Братства» (2006 г.) и «Астраханское старообрядчество и сектантство XIX в. в культурном контексте губернии» (2013 г.). Кроме того, в своих работах Н.С. Канатьева останавливается на судьбах и деятельности отдельных наиболее видных астраханских священниках-миссионерах, таких как епархиальный миссионер Михаил Гусаков, священник Покровского Кафедрального собора Евтропий Кочергин, Пармен Смирнов и др. В данном

исследовании список астраханских миссионеров пополнится именем ещё одного священнослужителя- протоиерея Иоанна Павловича Нигровского. С 1900 г. Иоанн Нигровский являлся настоятелем Спасо-Преображенской церкви станицы Городофорпостинской, а с 1903г. благочинным церковью 1 округа Астраханского уезда. Для борьбы с расколом и сектантством вся епархия была разделена на три участка, которыми заведовали епархиальные миссионеры. В ведении каждого миссионера была отдельная, устроенная на средства Братства библиотека, ежегодно пополняемая новыми книгами и журналами. Участки в свою очередь были разделены на округа, управляемые окружными миссионерами (Летницкий И. 1907, стр.641). Соответственно, священник Иоанн Нигровский возглавил миссионерскую работу в станице Городофорпостинской. Благодаря активной деятельности священника Нигровского, по сведениям клировых ведомостей, с разницей всего в несколько лет, были открыты церковные школы в станице Атаманской и на Форпосте, действовало 4 церковно - приходских школы грамоты на Ново-Солянском поселке, а в самом приходе открылись две воскресные школы для взрослых (ГААО. Ф 741. О. 1\1. Д. 20). За время своего служения в станице Атаманской Иоанн Павлович Нигровский вёл активную миссионерскую деятельность: нёс послушание окружного миссионера и вёл по ходотайству Кирилло-Мефодиевского братства публичные беседы со старообрядцами, преимущественно беспоповского толка. Стоит отметить, на его участке таковых было немало, если учесть, что именно на форпосте существовал молельный дом беспоповцев. Большое внимание в беседах уделялось вопросам о престосложении для крестного знамения, антихристе, посолонном хождении, некоторых таинствах». Кроме того, обсуждались проблемы раскола Русской православной церкви, клятвы соборов 1666–1667 гг. Помимо бесед со старообрядцами, отец Иоанн большое значение уделял работе с православной молодёжью, в частности беседам об устройении семьи. Дело в том, что среди старообрядческого населения станицы Городофорпостинской особо выделялись такие крайние старообрядческие толки как федосеевцы-беспоповцы, пропагандирующие безбрачие. Были среди них и достаточно колоритные фигуры, такие как вдовы Агапия и Агафия, составившие свой устав. Об этом также в своих работах упоминает Н.С. Канатьева. Для молодых особ, ещё не вступивших в брак их доводы в пользу безбрачия казались весьма весомыми. Или же, напротив, стали нередкими браки православных со старообрядцами, условием которых был обязательный отказ от православной веры.

Помимо своей миссионерской работы, Иоанн Нигровский являлся членом-сотрудником Императорского Православного Палестинского

Общества с присвоением почётного пожизненного звания и права ношения бронзового нагрудного знака. В 1908 г. Иоанн Нигровский был возведён в сан протоиерея, не оставляя своей деятельности по обращению старообрядцев в православие. Будучи настоятелем Спасо-Преображенской церкви, Иоанн Нигровский заслужил всеобщую любовь и доверие своих прихожан, которые в знак своего уважения с разрешения Его Преосвященства преподнесли настоятелю золотой крест с драгоценными камнями.

Наибольшее количество сведений о семье и происхождении священнического рода Нигровских мы узнаём из историко-краеведческой статьи Иоанна Нигровского «Слобода Александровска», опубликованной в 1885 г. в Воронежских Епархиальных Ведомостях (Нигровский И. 1885). В этой статье помимо описания истории села, родом из которого и был Иоанн Нигровский, автор касается описания местной Троицкой церкви, где с первой половины XIX в. служили священники Нигровские, потомком которых и являлся сам Иоанн Нигровский. Описание слободы Александровки было сделано священником Иоанном Нигровским уже через два года после того как он покинул родные места и был назначен на служение в Астраханскую епархию. Касаясь в своей статье причта Троицкой церкви, Иоанн Нигровский прослеживает его вплоть до самого первого священника, по письменным источникам, вступившим на должность настоятеля Троицкой церкви слободы Александровка в 1789 г. Приемником первого настоятеля храма, как указывает Иоанн Нигровский, стал некий Сила Нигровский-сын священника Афанасия Нигровского. По его сведениям, священник Сила Нигровский родился в 1766 г., окончил Воронежскую духовную семинарию, в 1787 г. был рукоположен в диакона и переведён в слободу Марковку, а уже оттуда переведён в слободу Александровку, где прослужил до 1820 г. Затем отец Сила уступил место своему сыну Петру Нигровскому, который родился в 1799 г. и по стопам отца закончил Воронежскую духовную семинарию. Причём, о том, чтобы поставить настоятелем храма старшего сына отца Силы, как отмечает Иоанн Нигровский, ходатайствовал сам народ - прихожане храма, которые испытывали большую любовь и привязанность к настоятелю Силе Нигровскому. Новый настоятель заслужил не меньшую любовь, чем его покойный отец, поэтому видеть кого-то другого на его месте, кроме как уже его сына, никто не желал. Скончался Пётр Нигровский в 1849 г. от холеры. Во время эпидемии священник выказал необыкновенную силу духа и трудился до последнего часа своей жизни. После смерти Петра Нигровского его сменяет его сын Павел, хотя и он сам и его братья видели на этой должности молодого семинариста-мужа их сестры. Осталось только ехать в Воронеж и просить Владыку. Но всё случилось иначе.

Однажды, Павлу Нигровскому, который, кстати, являлся отцом Иоанна Нигровского, пришлось прочитать народу небольшую проповедь по поводу страшной эпидемии. Его слова настолько тронули собравшихся, что даже мужчины не сдерживали слёз, и, конечно же, стали просить о том, чтобы Павел Нигровский занял пост отца и стал настоятелем храма. Таким образом, мы видим, что и прадед, и дед, и отец Иоанна Нигровского являлись служителями Троицкого храма, находящегося в слободе Александровка Воронежской Губернии. И только сам Иоанн Нигровский, родившейся 25 ноября 1860 г. в слободе Александровка Острогожского уезда Воронежской губернии, обрывает эту нить и в 1883 г. согласно прошению переезжает на служение в Астраханскую Губернию, где был рукоположен в дьякона и спустя несколько дней во священника Косикинской Донской церкви Енотаевского уезда.

Отдельного внимания заслуживают так называемые «Поучения» священника Иоанна Нигровского», опубликованные в разновременные промежутки в Астраханских Епархиальных Ведомостях. В большинстве своём все наставления касались казачества станицы Косикинской, где священник Иоанн Нигровский исполнял ещё и обязанности законоучителя Косикинских станичных мужского и женского училищ. В этих «Поучениях» священник даёт наставления перед началом месячных сборов. Через 3 года после начала своего служения, осенью 1886 г. Иоанн Нигровский был переведён в Средне-Ахтубинскую Покровскую церковь Царевского уезда. Его прощание с Косикинским приходом также нашло место на страницах Астраханских Епархиальных Ведомостей.

До недавнего времени о местонахождении могилы священника Нигровского не было ничего известно, но в июле 2016 г. в Астраханской областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской состоялась презентация книги «Забытые судьбы. Памятная книга священнослужителей Царевского и Черноярского уездов Астраханской епархии (в границах Калачевской епархии Волгоградской митрополии)». Книга представляет из себя биографический справочник, включающий в себя около 400 биографий и документального материала относительно священнослужителей, служба которых проходила в границах пересечения современной Калачевской епархии Волгоградской митрополии с дореволюционной Астраханской губернией. Авторы книги А.А. Клушин и И.О. Будков для сбора информации по некоторым священнослужителям связались с их родственниками. В частности, при содействии членов Астраханского регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества родственники одного протоиерея Нигровского Иоанна Павловича, проживающие сейчас в г. Рязани, смогли приехать в Астрахань, в которой прошла большая часть жизни и годы служения их

прадеда. Они предоставили очень ценные личные фотографии Иоанна Нигровского, связанные с его служением на Форпосте, но самое главное, была обнаружена могила протоиерея Нигровского, находящаяся на старом Трусовском кладбище, причём могила эта не была заброшена. Всё это время за ней ухаживали. Настоятелем храма Преображения Господня иереем Виталием в присутствии родственников священника Нигровского на его могиле была отслужена панихида.

Таким образом можно отметить, что главное средство по борьбе со старообрядчеством и сектанством священник Нигровский, видел в первую очередь в препятствии к их дальнейшему распространению среди православного населения. Учитывая тот факт, что на момент служения священника Нигровского, весьма многочисленным населением форпоста являлись казаки, среди которых была большая доля приверженцев старообрядческой веры, имелся свой молельный дом и велась своя религиозная пропаганда, то неудивительно, что самым большим опасением миссионера было не допустить проникновения их убеждений в православные семьи. Поэтому свои первостепенные миссионерские задачи Иоанн Нигровский связывал с развертыванием религиозно-просветительской деятельности, включавшей обучение как детей, так и взрослых. Именно поэтому в первые же годы служения Иоанна Павловича Нигровского было открыто сразу несколько церковно - приходских школ, школ грамоты и воскресных школ для взрослых, тем более, что школ при молитвенных домах нет и дети учатся в обычных школах вместе с православными (Летницкий И. 1907, стр. 637). На базе церковно-приходских школ, которые по сути становились центрами религиозно-нравственного просвещения населения форпоста.

Библиографический список:

1. ГААО. Ф 741. О. 1\1. Д. 20.
2. Иеромонах Антоний, (2012). Миссионерский аспект деятельности образовательных учреждений Астраханской епархии в период с XVIII по начало XX века.
3. Канатьева Н.С., (2013). Астраханское старообрядчество и сектантство XIX в. в культурном контексте губернии. Сорокин Роман Васильевич.
4. Канатьева Н.С., (2006). К истории Астраханского Кирилло-Мефодиевского братства. Вестник АГТУ. №5 (34). Издательство Астраханского Государственного Технического Университета.
5. Клушин А.А., Будков И.О., (2016). Забытые судьбы: Памятная книга священнослужителей Царевского и Черноярского уездов Астраханской епархии (в границах Калачаевской епархии Волгоградской

- митрополии): Биографический справочник: Конец XVIII – начало XX вв. Издательство Станица-2. 380-383
6. Летницкий И., (1907) Общее годичное собрание Астраханского епархиального Православного Кирило-Мифодиевского братства за 1906 г. Астраханские епархиальные ведомости 635-645
 7. Нигровкий И., (1885). *Слобода Александровка*. Воронежские епархиальные ведомости. Неофициальная часть. №16, 562-590.
 8. Несколько руководственных слов по делам миссии, (1901). Типография Егорова В.Л. 3-15.
 9. Редькина О.Ю., (1999). *Старое русское сектанство на Нижней Волге и Дону в XVIII-XX вв.* Геоэкономические и этнокультурные особенности хозяйственного развития Прикаспия и Приазовья в XVIII-XX вв. Сборник научных статей. Издательство Волгоградского университета.
 10. Тинина З.П., Васильева Е.Г., (2011). О проблемах миссии православных братьев на Нижней Волге в 1913 г.

MISSIONARY ACTIVITIES OF PRIEST IOANN (JOHN) NIGROVSKY IN THE LOWER VOLGA FRONTIER

Vlasova N.V.

Vlasova Natalya Vladimirovna, Astrakhan Museum of local lore, 414000, Astrakhan, Russia, st. Soviet 15.

E-mail: PearlHeavenly77@yandex.ru

Article is devoted to missionary activities of the Astrakhan diocese in the Lower Volga frontier on the example of antidissenting and protivosektansky work of the Astrakhan priest missionary Ioann Pavlovich Nigrovsky. The main objective of a research seems the author, first of all, in studying and generalization of the historical, sociocultural, ethnocultural and confessional factors which exerted impact on development of missionary activities in the territory of the Astrakhan diocese what follows from that among the main tasks of a research there will be, first of all, an analysis of methods and methods of a missionary initiative of orthodox clergy at the beginning of the XX century, and also in generalization of a personal deposit of the priest Nigrovsky in development of traditions of missionary service on the Lower Volga frontier. With use of the concept фронтир in article the comparative analysis of the most productive methods of activities of orthodox preachers among sectarians and dissenters in the territory of the Astrakhan diocese is carried out. Use of microhistorical approach gives the chance of detection of regional specifics of a question. In addition the principles of historicism, scientific objectivity and systemacity formed a methodological basis of a research that causes studying of various phenomena and historical processes in interrelation of their development.

Keywords: Lower Volga frontier, Astrakhan Diocese, Orthodox, missionary, priest, John Nigrovsky.

References:

1. ГААО., F 741. А. 1 \ 1. D. 20.
2. Hieromonk Anthony, (2012). The missionary aspect of the work of educational institutions of the Astrakhan diocese in the period from XVIII century to the beginning of the XX century.
3. Kanateva N.S., (2013). Astrakhan Old Belief and sectarianism of the XIX century in the cultural context of the province. R. V. Sorokin.
4. Kanateva N.S., (2006). On the history of Astrakhan Cyril and Methodius Brotherhood. Bulletin Astrakhan State Technical University №5 (34). Publisher Astrakhan State Technical University.
5. Klushin A.A. Budkov I.O., (2016). Forgotten fate: Commemorative book is clerics and Tsarevskogo Chernojarsky districts of the Astrakhan diocese (within the boundaries of the Archdiocese Kalachaevskoy epaphii Volgograd): Biographical Directory: End of XVIII - early XX centuries. Publisher Stanitsa-2. 380-383
6. Letnitsky I., (1907). The General Annual Meeting of the Diocesan Orthodox Astrakhan Kirilo-Mifodievskogo fraternity for 1906 . Astrakhan diocesan sheets 635-645
7. Nigrovky I., (1885). Sloboda Aleksandrovka. Voronezh diocesan statements. The informal part. №16, 562-590.
8. A few words on the mission rukovodstvennyh Affairs, (1901). Printing Egorov V.L. 3-15.
9. Redkina O.J., (1999). Old Russian sectarianism in the Lower Volga and Don in the XVIII-XX centuries. Geo-economic and ethno-cultural characteristics of the economic development of the Caspian and Azov Sea in the XVIII-XX centuries. Collection of scientific articles. Publisher Volgogradskogo University.
10. Tinina Z.P., E.G. Vasilyeva, (2011). On the problems of the mission of the Orthodox brethren in the Lower Volga in 1913. A collection of conference SIC sociosphere.

**BETWEEN SOVIETISED NATION AND NATIONALISED
SOVIETNESS, OR HOW RUSSIAN NATIONALISTS OVERCAME
FRONTIERNES IN IDENTITY (FROM SOVIETIZATION OF
DISCOURSE TO THE LATE SOVIET EROSION)**

Kyrchanoff M.W.

Maksym W. Kyrchanoff, Voronezh State University, Voronezh
Russia, 394000, Pushkinskaia 16
E-mail: maksymkyrchanoff@gmail.com

The author analyzes the attempts of the Soviet Russian intellectuals to overcome the state frontier in cultural Russian identity in the Soviet period. The author believes that Russian identity had frontier character because of cultural and intellectual tactics of the Soviet authors rooted in the values of universalism and the communist utopia. Russian authors in contrast to the national literatures were not successful in the synthesis of values of nationalism and ideas of the communist utopia. The author in this article analyzes the different cultural and intellectual strategies of Russian authors and their attempts to overcome the state of frontier. The author used more than 50 texts as sources in a history of the Sovietised Russian literature. The author deliberately ignored the texts of the recognized and canonised Soviet classics. The selection and formation of this corpus of the sources allowed analyzing the different cultural tactics and strategies of Russian intellectuals ignored in the contemporary historiography. The diversity of cultural practices from socialist realism to constructivism and a variety of intellectual strategies from the attempts of tight Sovietization of discourse to its late anthropologisation are also analyzed in the article.

Keywords: frontier, Sovietization, Soviet Russian prose, identity, nationalism, socialist realism, constructivism

Introductory remarks.

Russian identity in the Soviet Union (Hosking, 2009) developed a marginal and frontier case among other identities of Union and autonomous republics. Soviet political elites tried to invent and map the controlled spaces and they conditionally divided the USSR's territories in national "quarters" (Union Republic) and "rooms" (autonomous republic) in the imagined Soviet communal apartment. Russian identity had frontier character because its spatial limitations were nominal and formal. Russian intellectuals in the Soviet Union in general and in the USSR, in particular, tried to overcome this situation of intellectual and cultural frontiership. The author of this article tries to analyse the main cultural tactics, practices and strategies of Russian intellectuals from radical Sovietization (Dobrenko, 1993, 1997, 1999) of cultural discourse to its gradual erosion in the late Soviet period. These practices will be analysed as a

form of transcultural strategies of the frontier's overcome and attempts to reconcile Russian identity with the political ideals and norms of the Soviet Communist utopia. Sovietization radically changed the basic vectors and directions in developments of Russian literature, which in spite of the ideology and politicisation continued to evolve as a form of utopian consciousness.

Russian Sovietised prose was the relatively heterogeneous phenomenon, but regional differences between the texts of Russian writers from different regions of the RSFSR and the Soviet republics were not too significant. The representatives of Russian prose of the national republics (Gert, 1990) actualises the anthropological levels and dimensions of utopian consciousness, but these tendencies in Russian literature in the end of the 1980s lost their national character despite attempts to take control and ideologise anthropological forms of utopian consciousness. For example, Ivan Bulanov's novel "Granit" (Bulanov, 1980) was an attempt to invent correct from the ideological point of view anthropological utopia with the obvious political message, but the author overdid with the actualization of loyalty to the communist authorities and his text became the anti-utopian version of Sovietised Russian identity. The characters of the novel are typical inhabitants of the anti-utopian world because all their efforts and attempts were limited to searches of granite for production of Lenin's figure as a new sacralised idol, which authorised the communist utopian experiment because his figures were erected in Soviet cities everywhere and legitimised reality and absurdity of the Soviet utopia. Other Russian authors (Goff, 1971) preferred to actualise anthropological forms of anti-utopian consciousness in the context of sacred political victims who lost personality as a result of discriminations and repressions organised by authoritarian state mechanism.

Sovietization as the attempt to overcome frontierness of identity.

Russian Sovietised prose (Gladkov, 1957) developed as mostly ideological form of constructivism because the authors of Russian socialist realist novels preferred to create and develop great narratives in their texts-constructs, where they imagined modernization and transit to the communist utopia. The orthodox versions of the Soviet Communist utopia in the Sovietised Russian prose had industrial forms of legitimation. The Soviet writers (Galim, 1948, 1958, 1976) perceived the industry as a collective hero of Soviet literature and the texts about industrialization, factories-giants, shock labour of the Soviet working class formed the ideological hard-core of the Soviet communist utopia. These tendencies in the Sovietised Russian prose's development led, on the one hand, to the fact that the broad spaces of the Soviet Union become an arena for the Soviet experiment and the construction of a communist utopia became and collective characters, images and invented traditions of Russian Soviet literature.

On the other hand, utopian consciousness in the Sovietised Russian prose never existed in pure forms because it always was in contact with Russian nationalism.

Therefore, some Russian authors tried to snatch the regions of the Union republics from national context and integrate them into ideological canon of the Soviet communist utopia. Ukrainian Donbas became a victim of the intellectual practices and strategies of the Soviet Russian writers who faithfully and sincerely believed in the principles and values of communism, the inevitability of universal triumph of the communist utopia. They perceived communist utopia as predominantly technocratic and imagined national characteristics and differences as time vestiges and historical archaisms. Fiodor Gladkov's novel "Tsement" forced the characters to declare the fiery speeches about communist utopia of the future: "... we start of our factory, this giant of the republic become a new victory on the front of the proletarian revolution ... we fight for the creation of our proletarian economy. This is our will, our struggle ... we are all one in spirit ... we are called by our party and Lenin ... we build our socialism and proletarian culture..." (Gladkov, 1986, 243 - 244).

The story "Kliatva" actualised anti-utopian trends in Soviet identity, but Soviet critics perceived this text as the ideologically correct and a part of the discourse of the official socialist realism. The social existence of the hero has a lot in common with the life of other characters from imagined dystopian societies because his life in general was subordinated to the logic of ideology and rigid centralization and total control. The story "Kliatva" has all birth traumas of anti-utopia. The protagonist "gets up in the morning with the first words of the speaking radio. This is my alarm clock ... amazing, but I feel its appeal before the loudspeaker starts talking, I feel a sudden jolt and the inner emerges from a sleepy nothingness" (Gladkov, 1986, 329). The space, the hero lives in, has a lot in common with the utopian societies from other texts: "I go out into the street. Our village is a city with wide streets and multi-story buildings, trams, boulevards and flower beds in the squares ... cylinder of glass factory roof plants, pipes, huge bodies, electric lights..." (Gladkov, 1986, 332). The hero of the story does not aware himself as free individual, but imagine himself as part of collective and representative of the system: "I enter in the factory. It is filled with electricity ... I immediately feel a connection with my machine. I see it from afar, and it welcomed me by its living shinings and special warmths ... my dear country ... you are my mother ... my whole life, all my thoughts belong only to you" (Gladkov, 1986, 337, 446).

The prose of Fiodor Gladkov formed a new form of Soviet political identity Fiodor Gladkov's novel "Energiia" on the one hand become a typical novel-construct because the author copied, invented, constructed and re-written it twice and the text is also available in two different versions. The heroes of Fiodor Gladkov also were invented and became people-constructs, people

without personal stories and biographies, people with no past who exist as ideological mannequins and willingly became the cement of the future communist utopia. The approach and method of constructivism of the text and its integration into the official Soviet ideological canon proved to be very convenient in Russian Sovietised prose. The principles of constructivism dominated in the greater part of the texts that simulated historical discourse. The prose texts of Soviet writers about revolution and the revolutionaries (Gordin, 1981) simultaneously become novels-constructs and ideologically motivated attempts to invent a new political tradition. The revolution in the Soviet Russian prose become one of its main characters and political boundaries and geographical distances could not stop the Soviet writers who tried to integrate foreign revolutionaries in the Soviet cult of ideologically correct martyrs.

Russian Soviet writers tried to snatch different images of revolutions from foreign national historical contexts and invent them as socialist, imagine their continuities and relationships with Russian revolution. The revolutions in this intellectual context become an important and facet element of Russian utopian tradition. Russian Soviet writers (Gorbunov, 1976) in general did not allow their heroes to chose their own ways in the life. They made them to look for their "place under the sun" and accept the ideals, values and principles of Soviet society as the only politically and ideologically correct and right utopia. The attempts of the Soviet Russian prose's heroes to find their own "place under the sun" were applied and instrumentalist in their nature because they were looking for the sun of official ideological utopias and these attempts were far from naïve utopian ideals with their historical solar connotations and parallels.

The utopian consciousness in the intellectual context actualised its primordial characteristic in the Soviet system of identity. On the other hand, the great numbers of the Soviet novels were constructivist because their authors imagined and popularised the collective representation about the transition from traditional society in the modernist future, and these texts also actualised process of building of the communist utopia as the construction of an ideal future society. Fiodor Gladkov's texts in these intellectual contexts became radical attempts to imagine and invent a new Russian identity, but this form of identity was not national because it had mostly ideological and political backgrounds. The principles of national identity in Fiodor Gladkov's novels were replaced by ideological orthodoxy and political faith in communism as a new civil religion. The prose of Fiodor Gladkov became the attempt to actualise Russian national utopia where the nation was killed and replaced by some collective myths, beliefs and misconceptions in the communist progress. The efforts of the Soviet authors assisted to the erosion and displacement of old collective and about historical memories about Russia because the identity of the substitute Soviet Russia as the national homeland and the ideological and political home of new

triumphing communist utopia prevailed in their identity and collective political imagination.

The ideologised identity as subordinated frontier.

Russian authors in those intellectual and cultural contexts gradually lost their national components and replaced them with ideological messages. Russian writers in the national republics (Gert, 1982) wrote the texts-constructs where they tried to actualise the historical background and roots of the political utopia in the personalised contexts and actualised the heritage of formal revolutionaries and progressive historical figures in the context of national utopias. Socialist realism was only the external form of the existence of national literatures, but modernist, post-modernist and constructivist practices determined languages Soviet utopias were written in and Soviet writers communicated with each other and the communist state as their mentor in general. The desires and attempts to combine the socialist realism and national ideas led to synthesis of different discourses and degradation and mutation of socialist realism and the erosion of the modernist tendencies. The constructivism in Russian Sovietised prose was relatively rare, but some Russian writers of the second half of 1950s created novels-constructs which were simultaneously attempts to imagine, invent and deconstruct the classic Russian cultural heritage.

The novels of Boris Ivanov "Dal' svobodnogo romana" (Ivanov, 1958) and "Preobrazhenie" of Inna Goff (Goff, 1984) were simultaneously constructs-texts, the attempts to revitalise the traditional narratives of great Russian history and novel as novel-as-collective-citation. The heroes of the classical Russian literature turned into heroes of Soviet prose and Russian writers became classic Soviet constructs and mental inventions. Leonid Liubashevskii (D. Del') (Del', 1970) was the author of the constructivist texts that actualised the different forms and levels of the Sovietised Russian utopian consciousness. The play "Pervyi prezident" was an attempt of cultural legitimation of the Soviet utopia, it was text-construct, where the author sought to synthesise and combine images of classical Russian literature and drama with Soviet political myths, including Iakov Sverdlov's figure. The play "Pervyi prezident" became deeply fragmented text-construct because new characters appeared in each act. If in the first act heroes of Russian classical drama were acting, in the second and the third acts the Bolshevik Iakov Sverdlov with Maksim Gor'kii actualised the ideological orthodoxy and mythological dimensions and levels of the text. Revolutionary soldiers were heroes of other texts of Leonid Liubashevskii who persistently tried to synthesise Russian cultural values and ideological orthodoxy of Bolshevism.

The Sovietised utopia in Russian Soviet drama had mixed and heterogeneous character. Russian and Soviet classics, including Maksim Gor'kii

and Aleksandr Pushkin acted with the Soviet ideologically motivated characters. These novels were the attempts of the Sovietised Russian communist utopia to actualise its historical roots and backgrounds, but these attempt inevitably assisted to the degradation of history that turned into an ideologically motivated collective construct. The monolithic, homogeneous and even dullness Soviet Russian constructivism and socialist realist tendencies in the constructivist utopia expressed in the military prose. The military prose in Russian Soviet literature (Boranenkov, 1976) and in national literatures (Abdullin, 1987) was among the most striking examples of constructivism. The Soviet political and ideological discourse forced the representatives of national literatures to integrate their identities in the Soviet canon, including military experience as a form of protection and defense of the Soviet communist utopia. Soviet writers imagined and invented military texts as novels-constructs: any military Soviet novels had several ritual elements, including the heroism of the Soviet soldiers, patriotism, collective faith in communism, the leading role of political propaganda, the obligatory presence of evil, but mostly not clever ideological and political enemy.

The Soviet authors could change the places, roles and importance of these elements in their texts, but one factor always remained constant. The military prose in its ideological forms served utopian consciousness in the USSR and also developed as integral element of collective religion of the communist utopia. The images of the enemy were also interchangeable and varied from traditional German and American imperialists to situationally politically necessary "White Finns" or Chinese revisionists. The texts of Soviet writers were in fact ideologically motivated postmodern novels, constructs, clothed and masked in the garbs of socialist realism. The socialist realism as a form of (post)modernist utopia in national literatures actualised the processes of intertextuality and the heterogeneity of the collective text. Soviet prose of the 1970s and 1980s (Gridin, Stepanov, 1987; Grubbe, 1971 Grubbe, 1978) developed as a collection of distinct and simultaneously coexisting constructs and their authors actualised the various problems, dissolved utopian consciousness in a variety of external factors. Officially, socialist realism dominated in the Soviet literature, but it allowed a limited diversity, but this diversity always was limited, restricted and controlled. The standardised and primitivised Soviet prose (Ekimov, 1990) expelled the person from its pages and schematised human psychology.

The few attempts to anthropologise official socialist realism were extremely unsuccessful and Russian Soviet writers inevitably slid into an ideology, political messianism and actualised the ideological functions of literature. The memoirs of Boris D'iakov "Simvol very" (D'iakov, 1977) were among those texts. The novel began as attempt to visualise Voronezh text in the

Sovietised Russian prose, but the author could not and did not want to actualise the regional levels and dimensions of the Sovietised Russian identity and quickly degraded to general descriptions of the ideological struggle, party work and other attributes of prose which were formally correct from the ideological viewpoint. The memoirs of Boris D'iakov were impersonal memoirs without people because people were not interested in him, and they were used as a background in panoramic canvases of the communism's building. Boris D'iakov's memoirs were extremely ideologised and almost everything in this text, including the people, the city and even the sky was exclusively and only the Soviet.

The text was in this situation de-anthropologised attempt to legitimise the communist utopia because Boris D'iakov actually wrote the text about his sacred victim for the sake of utopian communist society. The Sovietised Russian literature existed and functioned as a factory which specialised in the production of meaningless texts. The Soviet Russian literature of the 1970s (Emel'ianov, 1972) finally ceased to be Russian: it was the only Soviet because the formal Russian writers preferred to produce images of impersonal builders of communist society that virtually had nothing in common with the living Soviet citizens who did not read these books and ignored the Soviet hagiographic texts. These classic socialist realist texts were virtually empty because they were filled with ideological clichés. The different versions of the Soviet socialist realist discourse, including the village prose, forest prose, river prose and other semi-marginal and ecologically marginal nationalist intellectual genres of the Sovietised Russian literature provided the writers with opportunities to create the prose where utopian identity felt itself relatively free and relaxed. This literature in the Soviet Union was heterogeneous and conjectural ideologically motivated constructs-texts coexisted with other literature.

Some Soviet authors (Gunn, 1976) perceived the utopian elements in Russian identity differently, carefully mapped and located the regional and local forms and Russian versions of the traditional and archaic culture, and later imagined them as utopian ones. The Soviet literature in these intellectual and cultural situations involved in myth-making, the invention of myths and traditions, legitimization of traditional forms of utopia and its further integration into Sovietised cultural contexts. Therefore, different versions of the Soviet village prose with its ecological bias were both literatures-constructs and attempts to actualise the collective faith of the Soviet writers as servants of the communist regime in abilities and opportunities of Soviet utopia to solve ethical, moral and environmental problems and difficulties. Socialist realism in national literatures of the USSR and RSFSR became a territory where utopian and anti-utopian identities and forms of the consciousness dominated because it transformed and mutated into a pseudo or historiographical prose. The authors

of such texts could formally use real historical events, but they in their interpretations of a history and historical facts tended to presentism and also preferred to imagine, invent and construct events.

The socialist realists differed from the classical Western modernists because they recognised and rejected ideologically inconvenient and politically reprehensible relationships. On the other hand, the socialist realists dismantled the unity of the world because they believed that the world was heterogeneous from an ideological point of view, but Western modernists motivated this variety of aesthetic and cultural motives. The literature of socialist realism combined these two tendencies and therefore simultaneously actualised elements of utopian and anti-utopian consciousness, Soviet and non-Soviet trends and tendencies. Formally, the dominant role of socialist realism in Soviet literature dictated authors the defined and strict rules and regulations of imagination and invention of their heroes, including their human qualities and characteristics. The communist utopia in the late Soviet literature, including fiction, gradually deteriorated and become obsolete. Soviet writers in the second half of the 1980s were tired of utopias, tired of singing and praising of the development and progress of Soviet society because its utopian and idealistic character became more visible.

Formally serious Russian (Glazov, 1988) prose discovered the humans as central heroes in the 1980s, despite the fact that a few decades earlier Soviet literature developed as depersonalised and Soviet writers provided readers with political and ideological icons and heroes and their completely senseless and mad acts. If the heroes of the Soviet prose of the 1950s (Kudashev, 1959) were true believers and creators and of utopias who were ready to build the island of ice in the sea and fight against ideological opponents, the late Soviet prose preferred reject and eliminate these characters emphatically. The political, social and economic difficulties and problems, the Soviet Union faced in the 1980s, actualised the utopian character of the Soviet project. These trends also become more visible in Russian Soviet prose, which formally remained a Soviet, but at the same time sought to become more Russian in particular or common humanistic in general. These trends inevitably actualised utopian tendencies in Russian literature as a form of national identity.

The anthropologisation of national frontier cultures in the Soviet identity.

Russian authors actualised the anthropological forms and dimensions of utopian consciousness in the context of human tragedies, shattered dreams which were not been realised in a history of ruthless political Sovietised Russia in the first half of the 20th century. Therefore the heroes of the Sovietised Russian prose were both utopian pessimists and they also were radically

different from the heroes of the early 20th century who truly and sincerely believed in the ideas and principles of inevitable progress. The heroes of Russian prose of the second half of the 20th century did not believe in progress, but become its victims because the early Soviet euphoria was replaced by mature Soviet ideological hangover. Soviet communist utopia institutionalised in a totalitarian state and it consistently subordinated humanity, destroyed and eroded dimensions and forms of individual characters in Russian prose where builders of the communist utopia mutated in provincials. The collective faith in a utopia and future changed in the late Soviet literature: its heroes ceased to be holy and truly believers of communism, they tried to escape from reality into the world of dreams.

The heroes of the late Soviet prose (Golubeva, 1986), as their predecessors, continued to dream of utopia, but this utopia became completely different. The utopian consciousness in the late Soviet prose actualised generic features of the classical utopia of the City of Sun because romantic, naive and idealistic utopia was more adaptable and attractive than ideologically and politically motivated forms of Soviet utopia. If the non-Russian literature invented and re-invented the categories of personality in the national contexts, Russian authors preferred to actualise the political and ideological differences and disagreements with the authoritarian Communist utopia. Soviet literature proposed various forms, tactics and strategies for anthropologization of socialist realism. Russian authors preferred to consider and formally accept ideological requirements and political demands of the official socialist realist canon and discourse. These trends were evident in the ideological and pseudo-historical prose including a novel of Stepan Zlobin "Salavat Iulaev" (Zlobin, 1973), where Russian writer imagined, invented and constructed the images of non-Russian political protest in its historical perspectives. This novel was one of those texts where the authors sought to historicise, historically legitimise and justify Russian utopia and integrated non-Russian Turkic elements in Russian utopian context. The first attempts to actualise the universalist character of Russian national utopia were made in the period between the two world wars when some Russian writers (Tan-Bogoraz, 1962) sought to integrate national motifs and themes in Russian canon and invent traditional primitive and archaic images of the non-Russian ethnic groups.

Russian authors preferred to ascribe the functions of exclusively passive acceptance of progressive Russian influences and impacts on them. The similar sentiments dominated in the novel of Piotr Gubanov "Korela" (Gubanov, 1982) where the author attempted to integrate Karelian history in the context of exclusively Russian one. The novels of Mihail Bubennov (Bubennov, 1983) were attempts to Sovietised historical past of Tatars and Tatarstan because the writer consistently integrated narratives in Russian context, constructed images

of the revolutionary struggle, the leadership of Russian ardent revolutionaries in a history of Tatars and also proposed negative images of class enemies. Vasiliï Baranovskii sought to integrate Latvia in Russian historical and cultural contexts and he consistently populated historical Baltic lands and territories by Russian heroes. Vasiliï Baranovskii (Baranovskii, 1989) provided his Russian heroes, he settled in Latvia, only positive qualities and features, and Russian communities in Latgale were imagined by him as sources and centers of progressive Russian influence and utopian consciousness in the context of progressive Russian influence on the local population. The heroes of Vasiliï Baranovskii made a painful choice between two historically different and opposite forms of utopia. The chapel and "sel'sovet" were the centers of this fragmented utopian consciousness, but Vasiliï Baranovskii preferred not to express his sympathies none of these forms of utopian identity.

Other Russian authors were more sophisticated and creative in their attempts to export Russian communist utopia in the national cultural contexts and landscapes. Ernst Butin's novel "Zolotoi ogon' Iugry" (Butin, 1987) was an attempt to integrate the national culture of Siberia in Russian historical and utopian contexts, but the author did not limit himself by primitivised vulgar socialist realism and ideological motives. Ernst Butin attempted to integrate national non-Russian dimensions into the Sovietised Russian context. Ernst Butin on the one hand sought to prove that the Communist utopia was inevitable. He invented the images of Bolsheviks in his novel as exceptionally positive and correct characters. The writer also provided Whites with only negative qualities, but it was not enough to him. The bandits in Ernest Butin's novel attempted to kidnap Khantian religious shrine, but the Bolsheviks did not allow them to do it. The novel in this context actualised its new meanings and messaged because Ernest Butin tried to imagine the Bolsheviks both as proclaimers of new era of communist utopia and the advocates of national groups and the minor nations. Ernst Butin provided future communist utopia with the functions of ethnic and cultural diversity's legitimation. This idea of the Soviet writer was just a form of ideological maneuver because the national policy in the Soviet Union did not always stimulate the development of national cultures and languages, but on the contrary assisted to the assimilation of non-Russian groups who became sacred victims of progress and the communist utopia. These aspirations of Russian authors stimulated fact that non-Russian ethnic groups in Russian utopia turned into a junior and subordinate Russian partners in the construction of a communist utopia. These attempts had exclusively political backgrounds and roots because Russian writers in this context served utopian nationalist discourse. Utopian discourse in the Sovietised Russian prose developed as a continuation of the historical imagination. Russian Soviet writers actively imagined origins and backgrounds of communist utopia

and preferred to locate them in the social and cultural history of Russia, its various and numerous political and economic contradictions.

Russian identity between mainstream and frontier.

Russian Soviet authors (Voronskii, 1933 (1966)) tried to legitimise the communist utopian experiment and actualised weakness and primitiveness of Russia as a historical predecessor of the Soviet communist utopia. The Soviet writers imagined the domination of archaic relationships, remnants of religious consciousness in the Soviet prose in their ideologically motivated attempts to actualise the fundamental differences between the old archaic Russia and Soviet communist utopia. Russian Soviet writers in the late Soviet period also tried to actualise and express the anthropological levels and dimensions of consciousness in the Soviet Communist utopia, and these efforts assisted to the actualization of earlier latent antiutopian elements in the Sovietised Russian identity. The majority of Russian writers in the Soviet period preferred to form and develop ideologically motivated forms of anthropological forms and dimensions of national utopia. Efim Gretsev (Gretsev, 1984) formed and promoted ideologically motivated images of utopia, where the hero was a system element in revolutionary utopian consciousness. The prose of Efim Gretsev was the attempt to create and imagine the foundations of Russian utopian identity and legitimises it in the Sovietised examples of the heroic revolutionary struggle. The ideologization of anthropological trends developed in Soviet science fiction also. The novel "Vroraia zhizn'" of Vasilii Vaniushin (Vaniushin, 1962) was an example of indoctrination of the hero in the context of utopiazation because the text combined elements of science fiction and it also reproduces Soviet ideological discourse. Formally, the novel was a fantastic story because the protagonist, a progressive and ideologically correct Soviet scientist professor Galaktionov worked in the capitalist country together with the bourgeois scientists and tried to raise the dead. If Vasilii Vaniushin was able to stop in time the novel could be mapped among numerous texts that belonged to the science fiction discourse, but it was not enough for the Soviet writer and he revived dead heroes for the revolutionary struggle. Utopia in the Soviet identity was so universal and inevitable category that Soviet writers were ready to build it and even used the dead for realization of collective utopian dreams.

The heroes-revolutionaries in the Soviet Russian prose became saints who legitimised and personified the authoritarian Soviet utopian experiment. Irina Iroshnikova (Iroshnikova, 1985) tried to combine anthropologisation of socialist realism with great historical narratives. Therefore, the Soviet communist utopia in her prose actualised its new dimensions: the history transformed into a fixed reflection of the Soviet utopian experiment with claims to become Sovietised Russian national utopia. Sergei Vasil'chikov in his novel

"Provintsial'nyi roman" (Vasil'chikov, 1980) also updated the anthropological problems of the communist utopia in its Russian version in the contexts of erosion of ethical values and the suppression of the human personality. The novel's hero committed ethical and moral rebellions because he refused a career of engineer that forced him to live in the world of inertia where there was no place for dreams and utopias in its positive and archaic sense. The failure and fall of the formally recognised and honorable career of the Soviet engineer became the attempt of the novel's hero to create his own personalised utopia as an alternative to Soviet forced and ideological utopia. Formally, all the Soviet writers were socialist realists, but in fact they tried to abandon this archaic method as a tool that was not is useful in their attempts to describe Soviet and national realities relatively objectively and adequately. These attempts of intellectual liberalization and consistent nationalization of literature distinguished them from other Russian authors who preferred to leave faithful slaves or servants of the Soviet ideology. Therefore Russian authors (Gribov, 1979) tried to promote the utopian motives and rooted them in agrarian consciousness.

The most of these texts belonged mostly to the official ideological discourse. Other Russian writers (Gramzin, 1981) actualised the theme of utopia in the context of the labour novel, which constructed and made obvious and visible constructivist moments of communist utopia. The workers in this situation become classical intellectual heroes of the Soviet socialist realist constructivism because they were the most comfortable facilities for invention and imagination of Soviet communist utopia. Iurii Volkov's novel "Svet nad Tengizom" (Volkov, 1976) was one of those novels and constructs because the author consciously imagined biography and the image of his hero Mihail Proskurin as "communist and honorable mechanizator". The texts of the Soviet period, which belong to this type of literature, were extremely complex, but it was too easy to read them. These texts, on the one hand, were difficult because of the most of the social, political and ideological realities, the author wrote about, became a part of history. The best specimens of Russian Soviet socialist realism are understood by modern readers in the same way they used for understanding of or slightly Russian texts of the 18th and the first half of the 19th centuries that actualised archaic realities and cultural institutions.

On the other hand, these texts were simple and sometimes primitive because they belonged to the number of text-constructs invented in Soviet ideological tradition: it was enough to read only one text of this type to understand the basic vectors and the directions of the Soviet hagiographic literature's development. Russian authors in this intellectual context attempted to synthesise the values and principles of communist ideology with the political problems of gender. Galina Serebriakova (Serebriakova, 1964) became the

author of semi-literary texts about women in French Revolution, but the Soviet texts were far from feminist trends of the following years. Soviet authors imagined and invented revolutionary ideological saints as precursors and proclaimers of the future communist Soviet utopia. The dependence on communist ideology was evident in attempts to anthologise images of revolutionaries in the Soviet utopia. Soviet communist utopia imagined its heroes not as independent characters, though writers formally actively and readily attributed functions and missions of creators and builders of the new communist society to them, but the activity of Soviet heroes had subordinated character. The personal and personalised biographies of Soviet prose's characters were only illustrations of the events imagined and invented by Russian Soviet writers.

The personal biographies of heroes were nothing in the context of a history of the revolution and civil war. In fact, Soviet writers initiated depersonification of utopia and the characters of the Sovietised prose became victims of the radical Soviet modernization and the desire of the Soviet elites to construct a perfect communist utopia. Despite all the attempts of Russian writers (Gubanov, 1982) heroes-revolutionaries were exactly revolutionary and their humanistic and human qualities were not interesting for authors who preferred to imagine their heroes as the staunch ideological fighters and opponents of capitalism. The Soviet writers (Gribanov, 1987) actively tried to integrate American participants of the revolutionary movement into Soviet ideological canon. These aspirations of the Soviet Russian writers actually became attempts of the forced Sovietization of American history. The Soviet writers preferred to deny other national utopias and legitimised alternative forms of utopian consciousness, which were different from Russian utopia. The human qualities in Russian prose tampered with political ideas and its characters turned into symbols of the class struggle and political courage. Valerii Gorbunov's novel "Kollektsiia" (Gorbunov, 1982) became a form of the Soviet political consciousness and its utopian identity because the author actualised simultaneously two opposing trends in the Russian utopian consciousness: the desire to serve pseudo-spiritual mission and attempts of individual enrichment and hoarding. Valerii Gorbunov recognised only ideologically correct forms of service and consent of his heroes to be faithful servants of the Soviet state of communist utopia. Other Russian writers (Vlasov, 1975) imagined their heroes as the displaced inhabitants of the geographical peripheries, but the Soviet geologists in Russian Soviet imagination ousted Sovietised romantic revolutionary hero from the literature and revolutionary romanticism was replaced by routine simulation of peripheral existence.

Frontier identities and utopian consciousness.

The antiutopian motives, ideas of frustration, psychological tensions, insecurity, and abandonment of orthodox ideological belief in the value and principles of communism made Soviet writers to question the inevitability of a communist utopia as a form of the future. The representatives of non-Russian ethnic groups (Keptuke, 1991) in the late Soviet period began to show great concern in the context of Russification and assimilation, which led to the destruction of national cultures and identities of the sociums and the communities, they belonged to. The attempts to institutionalise the national forms of utopia as natural environmental alternative to the Soviet one and desires to actualise its archaic traditional roots and backgrounds were helpless and hopeless in the context of universalist logic of Russian communist utopia, which erased the national identities and replaced them by pseudo-cultural communist surrogate of ideological and mythological culture that had mostly servilist functions.

The late Soviet writers, including Svetlana Gyrylova (Gyrylova, 1989), disillusioned with the ideals of the communist utopia, realised its mythical character and the impossibility of implementation and realisation of the Soviet project. The heroes of the late Soviet prose ceased to be convinced and fanatical builders of communism and ardent revolutionaries. The characters of the Soviet prose of the 1980s with strange names and surnames, including Altan Gerel, synthesised principles of Western and Turkic anthroponymy, were urban dwellers of transnational landscapes of the big cities. The heroes of the late Soviet prose ceased to be the heroes of the bright communist utopia because of the world and the society, they lived in, was more like a dystopia. Soviet writers in their texts received possibilities and opportunities to actualise problems society faced with, but an objective description and discussion of these difficulties of late Soviet society were impossible a few years earlier. The assimilation, Russification, and erosion of national identities assisted to the crisis of the Soviet project and its ousting and replacement by the Soviet form of consumerism. The multiple and simultaneous co-existence of the situation of postcoloniality and transculturality eroded and destroyed the national and ideological foundations of the Soviet utopia. The intellectual discourse in the late USSR mutated, transformed, and finally became heterogeneous because the idea of the communist utopia lost its attractiveness. In spite of adaptive capacity and mobilisation potential of the Soviet authoritarian system its capabilities were limited and by the 1970s trends of political frustration and fatigue became more noticeable in the Soviet literature than in the earlier periods. The ideologised Soviet prose lost its creative energy and any attempts of officially controlled anthropologization of texts were unsuccessful. Despite all attempts to anthropologise the ideologised literature Soviet authors (Danilov, 1981) preferred to produce characters that were the same with the heroes of communist

mythology. Other Soviet writers preferred to create quality texts and tried to ignore the demands of the official ideological canon. Therefore, the system enabled them occasionally publish their texts and preferred to educate other authors who tried to invent a perfect homunculus for Soviet ideological utopia.

The Soviet authors began to try to escape from unpleasant socialist reality and actualised opportunities of the science fiction and utopia in its pure forms, but utopian experiments were rarer than pure fiction texts because this genre required more determination and courage of the author. Anatolii Kim was among those Soviet writers who tried to actualise the potential and possibilities of utopian literature. The story "Utopiua Gurina" of Anatolii Kim (Kim, 1981) became one of the few examples of the utopian genre in the Soviet Russian literature of the 1970s and the 1980s. Anatolii Kim formally wrote a realistic text, but he combined in its various forms and elements of the utopian identity of the dissolved Soviet political consciousness despite the attempts to control and ideologise it. On the one hand, Anatolii Kim actualised in his text the provincial levels and partially ecological dimensions of utopia because the story' character actually left the city for the province and this escape was an attempt to rescue the conscious rejection of wealth and the vicissitudes of urban civilisation. On the other hand, "Utopiia Gurina" was a novel in the novel because it contains the text of a manuscript written by the main character. Stylistically Gurin's text had a lot in common with Russian classical utopia of the 19th and early 20th century. Its author fixed the simultaneous belief in the correctness and inevitability of economic and social progress. "Utopiia Gurina" had revisionist character and it was the departure from the rigid rules and regulations of socialist realism. Therefore, Anatolii Kim attributed these utopian sentiments to his hero and separated them from the author's narrative. The actualization of utopian motives in Anatolii Kim's prose testified the fact that the Soviet writers came closely to the strict limits of socialist realism. The attempt to transplant the text in the text also actualised the constructivist nature of Soviet prose and the fact that some of its representatives can mix and combine texts and narratives from different historical periods. "Utopiia Gurina" became possible because some Soviet authors were able to imagine their writings as invented novels and texts-constructs.

The frontier character of the late Soviet cultural practices.

The social problems, economic difficulties, environmental disasters also actualised the crisis tendencies in the transformations of the Soviet utopian consciousness that by the end of the 1980s lost and exhausted its potential for mobilisation and ideological appeal of the Soviet utopia faded considerably in this situation. The environmental concerns forced the Soviet authors to transform literary discourse, some writers tried to make it less ideological and

actualise the anthropological and moral tendencies. Vladimir Gubarev in his play "Sarkofag" (Gubarev, 1987) actualised the problem of the heavy heritage of Chernobyl catastrophe and the overall pessimistic tones and moods of the play testified that the Soviet Communist utopia was powerless in its mad attempt to completely subdue nature. The Soviet citizens from cyclist to general were victims of an invisible radiation and the Soviet utopia as an attempt to institutionalise the radical idea was powerless despite the ideological orthodoxy of its inhabitants.

The intellectual erosion of the Soviet ideological project assisted to the fact that the formal Soviet authors began to express their personal disagreements and their texts began to actualise anti-Soviet motives, ideas and moods. The memoirs of Ivan Efimov published in 1990 (Efimov, 1990) described the rise and fall of the Soviet communist ideological utopia. The memoirs actually attempted to become the textualised disappointment of the author, who began as a true believing communist and believer in the communist utopia and the Soviet political experiment. Ivan Efimov in his memoirs recognised that his ideologically and politically motivated faith in communism transformed him in servant and a victim of the Soviet communism. These rethinkings and frustrations turned his memoirs from utopia to anti-utopia. The elements of utopian consciousness expressed and developed in anthropologization of Russian prose and attempts of Russian writers to re-invent humans as independent characters of the texts.

These re-imagined humans of the late Russian Soviet prose were not the builders of communism but became the central collective hero of Russian literature. Non-Soviet elements became more prominent in the late Soviet prose, for example, in the texts of Sergei Bardin (Bardin, 1985). Sergei Bardin in his short prose rejected rigid and ideological demands and requirements of the orthodox socialist realism and his characters did no longer build communist society – it was enough for them that they already lived in a world of mad communist anti-utopia. The internal structure of some Sergei Bardin's texts had no internal consistency and represent constructs and attempts to commit individual facts of existence in a society where everyday reality was dissolved in a world of ideological absurdity. The heroes of this prose attempted to find answers to unresolved contradictions including "Man is a flesh" and "Man is the spirit". The late Soviet prose (Taiganova, 1990; Ermakov, 1990; Danilov, 1990; Alekseev, 1990; Karpov, 1990; Kartushin, 1990; Murzakov, 1990; Slapovskii, 1990) actualised its revisionist character in the context of the utopian discourse's refusal.

Conclusions. The late Soviet writers began to perceive reality differently than their predecessors. The late Soviet prose gradually and painfully refused socialist realism as a form of utopian consciousness. The heroes of the late

Soviet prose ceased to be the builders of a communist utopia because they lived in a communist utopia of absurdity with the unresolved social and psychological problems. The late Soviet prose's characters were no longer ideal builders of communism, they become its slaves because faith in communism and rational logic of the authorities threw them into a war that radically traumatised consciousness of the heroes of the texts which formed the stable hard-core of the late Soviet prose. The heroes of the late Soviet prose faced numerous problems and they did not prefer to see themselves as builders of communism because ethnicity and identity became more important and entered in the number of factors which determined their behaviour. The representatives of the shadow economy and informal elites in the late Soviet prose pushed builders of the communist utopia. The late Soviet writers preferred the moral criticism of the late Soviet modernity's ulcers, but they were not able to understand that they witnessed and testified the death of the Soviet realities. The social and political problems, the late Soviet Union faced, slew collective beliefs in a utopia. The heroes of this late Soviet prose die quietly and casually, and their death has nothing in common with deaths of their historical predecessors and ardent revolutionaries. The death of the inhabitant of late Soviet utopia of factories and research institutes became the only indifferent fixation of the medical fact. Communist utopia in the late Soviet prose gradually becomes obsolete, degraded, and unable to compete with anthropologisation of texts. The crisis of the official socialist realist discourse became the result of its mutation from the method into collective political ritual, and this late Soviet metamorphoses led to collective euthanasia of the communist utopia.

References:

1. Abdullin, I., (1987), Idu po Mlechnomu outi. Roman-esse (perevod s bashkirskogo avtora). Moskva: Sovetskii pisatel', 368 s.
2. Baranovskii, V. (1989), Bagrianyi grad (povest'), Baranovskii, V. (1989), Bagrianyi grad. Vil'nius: Vaga, ss. 81 – 142.
3. Baranovskii, V. (1989), Suprotivtsy (istoricheskaiia povest'), Baranovskii, V. (1989), Bagrianyi grad. Vil'nius: Vaga, ss. 5 – 80.
4. Baranovskii, V. (1989), Udar kolokola (povest'), Baranovskii, V. (1989), Bagrianyi grad. Vil'nius: Vaga, ss. 143 – 357.
5. Bardin, S. (1985), Kak uhodil Horvat, Bardin, S. (1985), Gorod tselyi den'. Rasskazy. Moskva: Sovetskii pisatel', ss. 94 – 100.
6. Bardin, S. (1985), Ranniaia tiaga, Bardin, S. (1985), Gorod tselyi den'. Rasskazy. Moskva: Sovetskii pisatel', ss. 80 – 93.
7. Bardin, S. (1985), Rasskaz bez serediny, Bardin, S. (1985), Gorod tselyi den'. Rasskazy. Moskva: Sovetskii pisatel', ss. 4 – 12.

8. Bardin, S. (1985), Zakrytie ohoty, Bardin, S. (1985), Gorod tselyi den'. Rassказы. Moskva: Sovetskii pisatel', ss. 143 – 159.
9. Boranenkov, N. (1976), Krasnaia Pakra. Povest'. Moskva: Voennoe izdatel'stvo Ministerstva oborony SSSR, 282 s.
10. Bubennov, M. (1983), Bessmertie. Povesti i rassказы. Kazan': Tatarskoe knizhnoe izdatel'stvo, 464 s.
11. Bulanov, I. (1980), Granit. Povest'. Tashkent: Izdatel'stvo literatury i iskusstva imeni Gafura Guliyama, 68 s.
12. Butin, E. (1987), Zolotoi ogon' Iugry. Povest'. Moskva: Molodaia gvardiia, 220 s.
13. D'iakov, B. (1977), Sedaia molodost'. Avtobiograficheskii roman. Moskva: Sovremennik, 320 s.
14. D'iakov, B., Penkin, M. (1962), Chelovek, operedivshii vremia. Tragediia v chetyrioh deistviiah. Moskva: Izdatel'stvo "Iskusstvo", 86 s.
15. Del', D. (1970), Aleksandr Pushkin, Del', D. (1970), P'esy. Pervyi prezident. Tret'ia versta. Aleksandr Pushkin. Leningrad: Iskusstvo, ss. 126 – 299.
16. Del', D. (1970), Pervyi prezident, Del', D. (1970), P'esy. Pervyi prezident. Tret'ia versta. Aleksandr Pushkin. Leningrad: Iskusstvo, ss. 17 – 68.
17. Del', D. (1970), Tret'ia versta, Del', D. (1970), P'esy. Pervyi prezident. Tret'ia versta. Aleksandr Pushkin. Leningrad: Iskusstvo, ss. 69 – 125.
18. Dobrenko, E. (1993), Metafora vlasti. Literatura stalinskoi epohi v istoricheskom osveshchenii. München: Verlag Otto Sagner
19. Dobrenko, E. (1997), Formovka sovetskogo chitatelia. Sotsial'nye i esteticheskie predposylki retseptsii sovetskoi literatury. Sankt-Peterburg: Akademicheskii proekt
20. Dobrenko, E. (1999), Formovka sovetskogo pisatel'ia. Sotsial'nye i esteticheskie istoki sovetskoi literaturnoi kul'tury. Sankt-Peterburg: Akademicheskii proekt
21. Efimov, I. (1990), Ne sotvori sebe kumira. Leningrad: Lenizdat, 430 s.
22. Ekimov, B. (1980), Posledniaia hata. Rassказы. Moskva: Sovremennik, 269 s.
23. Ekimov, B. (1990), Donos, Ekimov, B. (1990), Donos. Povesti i rassказы. Moskva: Sovremennik, ss. 52 – 110.
24. Emel'ianov, G. (1972), Daliokie goroda. Povest'. Kemerovo: Kemerovskoe knizhnoe izdatel'stvo, 160 s.
25. Galin, B. (1948), V Donbasse. Ocherki. Moskva: Sovetskii pisatel', 252 s.
26. Galin, B. (1958), Vo imia budushchego. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoi literatury, 584 s.
27. Galin, B. (1976), V grozu i buriu. Ocherki 30 – 70-h godov. Moskva: Hudozhestvennaia literatura, 520 s.
28. Gladkov, F. (1957), Energiia. Roman. Moskva: Sovetskii pisatel', 626 s.

29. Gladkov, F. (1986), Kliatva. Povest', Gladkov, F. (1986), Tsement. Roman. Povesti. Moskva: Pravda, ss. 329 – 446.
30. Gladkov, F. (1986), Tsement. Roman, Gladkov, F. (1986), Tsement. Roman. Povesti. Moskva: Pravda, ss. 5 – 246.
31. Glazov, G. (1988), Postskriptum. Roman. L'vov: Kameniar, 208 s.
32. Goff, I. (1971), Poiushchie za stolom, Goff, I. (1971), Poiushchie za stolom. Rasskazy. Moskva: Sovetskaia Rossiia, ss. 31 – 39.
33. Goff, I. (1971), Skuchnye vechera, Goff, I. (1971), Poiushchie za stolom. Rasskazy. Moskva: Sovetskaia Rossiia, ss. 87 – 90.
34. Goff, I. (1971), Tot dlinni den', Goff, I. (1971), Poiushchie za stolom. Rasskazy. Moskva: Sovetskaia Rossiia, ss. 5 – 10.
35. Goff, I. (1984), Prevrashcheniia. Povest' vospominanii. Rasskazy. Moskva: Sovetskii pisatel', 280 s.
36. Golubeva, I. (1986), Dom v Olinfe, Golubeva, I. (1986), Dom v Olinfe. Povest' i rasskazy. Moskva: Molodaia gvardiia, ss. 4 – 33.
37. Gorbunov, V. (1976), Mesto pod solntsem. Povesti. Moskva: Sovremennik, 269 s.
38. Gorbunov, V. (1982), Kolleksiia. Roman. Moskva: Moskovskii rabochii, 447 s.
39. Gordin, Ia. (1981), Tri voiny Benito Huaresa. Povest' o vydaiushchemsia meksikanskom revoliutsionere. Moskva: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 366 s.
40. Gramzin, S. (1981), Zhivotsvet. Povest'. Rasskazy. Moskva: Sovremennik, 303 s.
41. Gretsev, E. (1984), Eho v stepi. Roman. Moskva: Voennoe izdatel'stvo, 304 s.
42. Gribanov, B. (1987), Zhanna d'Ark iz Ist-Saida. Povest' ob Elizabet Flinn. Moskva: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 351 s.
43. Gribov, Iu. (1979), Vysokovskie stariki, Moskva: Sovetskaia Rossiia, 128 s.
44. Gribov, Iu. (1984), Prazdnik v Usol'e, Stavskii, E. (1984), sost., Vtoroe rozhdenie. Povesti, rasskazy, ocherki i stohotvoreniiia o liudiah Rossiiskogo Nechetnopzem'ia. Leningrad: Lenizdat, ss. 129 – 139.
45. Gridin, G., Stepanov, A. (1987), Vol'nyi svet. Prostye dni. Rasskazy. Moskva: Sovremennik, 271 s.
46. Grubbe, Iu. (1971), Tropy pod kronami. Rasskazy. Syktyvkar: Komi knizhnoe izdatel'stvo, 104 s.
47. Grubbe, Iu. (1978), Eskizy po pamiaty. Rasskazy. Novelly. Syktyvkar: Komi knizhnoe izdatel'stvo, 176 s.
48. Gubanov, P. (1982), Kochegar Dzhim Garmlei, Gubanov, P. (1982), Korela. Povesti i rasskazy. Petrozavodsk: Kareliia, ss. 152 – 193.

49. Gubanov, P. (1982), Korela, Gubanov, P. (1982), Korela. Povesti i rasskazy. Petrozavodsk: Kareliia, ss. 5 – 111.
50. Gubanov, P. (1982), Prestuplenie v Solt-Leik-Siti, Gubanov, P. (1982), Korela. Povesti i rasskazy. Petrozavodsk: Kareliia, ss. 112 – 151.
51. Gubarev, V. (1987), Sarkofag. Tragediia. Moskva: Iskusstvo, 85 s.
52. Gyrylova, S. (1989), Bosaia v zerkale. Pomiluite posmertno. Roman-dilogiia. Moskva: Sovremennik, 348 s.
53. Hosking, G. (2009), Rulers and Victims. The Russians in the Soviet Union. Harvard University Press, 496 p.
54. Iroshnikova, I. (1985), Moskva – Krutoborsk. Semeinaia hronika. Roman. Moskva: Sovetskii pisatel', 296 s.
55. Ivanov, B. (1958), Dal' svobodnogo romana. Moskva: Sovetskii pisatel', 716 s.
56. Keptuke, G. (1991), Malen'kaia Amerika. Povest', rasskazy. Moskva: Sovremennik, 207 s.
57. Kim, A. (1981), Utopiia Gurina, Kim, A. (1981), Nefritovyi poias. Povesti. Moskva: Molodaia gvardiia, ss. 177 – 284.
58. Kudashev, A. (1959), Ledianoi ostrov. Novosibirsk: Novosibiskoe knizhnoe izdatel'stvo, 308 s.
59. Serebriakova, G. (1964), Zhenshchiny epohi Frantsuzskoi revoliutsii. Moskva: Sovetskii pisatel', 279 s.
60. Tan-Bogoraz, V. (1962), Vosem' plemion. Chukotskie rasskazy. Moskva: Izdatel'stvo hudozhestvennoi literatury, 404 s.
61. Vaniushin, V. (1961), Vtoraia zhizn'. Nauchno-fantasticheskii roman. Alma-Ata: Kazahskoe gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoi literatury, 260 s.
62. Vasil'chikov, S. (1989), Provintsial'nyi roman. Tula: Priokskoe knizhnoe izdatel'stvo, 288 s.
63. Vlasov, S. (1975), Kara-taiga. Povest'. Kemerovo: Kemerovskoe knizhnoe izdatel'stvo, 312 s.
64. Volkov, Iu. (1976), Svet nad Tengizom. Moskva: Politizdat, 168 s.
65. Zlobin, S. (1973), Salavat Iulaev. Istoricheskii roman. Sverdlovsk: Sredne-Ural'skoe knizhnoe izdatel'stvo, 472 s.

**МЕЖДУ СОВЕТИЗИРОВАННОЙ НАЦИЕЙ И
НАЦИОНАЛИЗИРОВАННОЙ СОВЕТСКОСТЬЮ, ИЛИ КАК
РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ПРЕОДОЛЕВАЛИ ФРОНТИРНОСТЬ
ИДЕНТИЧНОСТИ (ОТ СОВЕТИЗАЦИИ ДИСКУРСА К
ПОЗДНЕСОВЕТСКОЙ ЭРОЗИИ)**

Кирчанов М.В.

Максим В. Кирчанов, Воронежский государственный университет,
394000, Россия, г. Воронеж, Пушкинская 16
Эл. почта: maksymkyrchanoff@gmail.com

Автор анализирует попытки русских советских интеллектуалов преодолеть культурное состояние фронта русской идентичности в советский период. Автор полагает, что русская идентичность имела фронтальный характер, потому что культурные и интеллектуальные тактики советских авторов базировались на ценностях универсализма и коммунистической утопии. Русские авторы в отличие от представителей национальных литератур не достигли успехов в синтезе ценностей национализма и идей коммунистической утопии. Автор в этой статье анализирует различные культурные и интеллектуальные стратегии русских авторов и их попытки преодолеть состояние фронта. Автор использовал более 50 текстов русской советизированной литературы как источники. Автор сознательно игнорировал тексты признанных советских классиков. Источниковый корпус позволил проанализировать различные культурные тактики и стратегии русских интеллектуалов, которые игнорируются в историографии. Различные культурные практики от социалистического реализма до конструктивизма и разнообразные интеллектуальные стратегии от жесткой советизации дискурса до попыток его поздней советской антропологизации проанализированы в статье.

Ключевые слова: фронт, советизация, русская советская проза, идентичность, национализм, социалистический реализм, конструктивизм

Библиографический список:

1. Abdullin, I., (1987), *Idu po Mlechnomu outi. Roman-esse (perevod s bashkirskogo avtora)*. Moskva: Sovetskii pisatel', 368 s.
2. Baranovskii, V. (1989), *Bagrianyi grad (povest')*, Baranovskii, V. (1989), *Bagrianyi grad*. Vil'nius: Vaga, ss. 81 – 142.
3. Baranovskii, V. (1989), *Suprotivtsy (istoricheskaiia povest')*, Baranovskii, V. (1989), *Bagrianyi grad*. Vil'nius: Vaga, ss. 5 – 80.
4. Baranovskii, V. (1989), *Udar kolokola (povest')*, Baranovskii, V. (1989), *Bagrianyi grad*. Vil'nius: Vaga, ss. 143 – 357.
5. Bardin, S. (1985), *Kak uhodil Horvat*, Bardin, S. (1985), *Gorod tselyi den'*. *Rasskazy*. Moskva: Sovetskii pisatel', ss. 94 – 100.

6. Bardin, S. (1985), Ranniaia tiaga, Bardin, S. (1985), Gorod tselyi den'. Rasskazy. Moskva: Sovetskii pisatel', ss. 80 – 93.
7. Bardin, S. (1985), Rasskaz bez serediny, Bardin, S. (1985), Gorod tselyi den'. Rasskazy. Moskva: Sovetskii pisatel', ss. 4 – 12.
8. Bardin, S. (1985), Zakrytie ohoty, Bardin, S. (1985), Gorod tselyi den'. Rasskazy. Moskva: Sovetskii pisatel', ss. 143 – 159.
9. Boranenkov, N. (1976), Krasnaia Pahra. Povest'. Moskva: Voennoe izdatel'stvo Ministerstva oborony SSSR, 282 s.
10. Bubennov, M. (1983), Bessmertie. Povesti i rasskazy. Kazan': Tatarskoe knizhnoe izdatel'stvo, 464 s.
11. Bulanov, I. (1980), Granit. Povest'. Tashkent: Izdatel'stvo literatury i iskusstva imeni Gafura Guliyama, 68 s.
12. Butin, E. (1987), Zolotoi ogon' Iugry. Povest'. Moskva: Molodaia gvardiia, 220 s.
13. D'iakov, B. (1977), Sedaia molodost'. Avtobiograficheskii roman. Moskva: Sovremennik, 320 s.
14. D'iakov, B., Penkin, M. (1962), Chelovek, operedivshii vremia. Tragediia v chetyrioh deistviiakh. Moskva: Izdatel'stvo "Iskusstvo", 86 s.
15. Del', D. (1970), Aleksandr Pushkin, Del', D. (1970), P'esy. Pervyi prezident. Tret'ia versta. Aleksandr Pushkin. Leningrad: Iskusstvo, ss. 126 – 299.
16. Del', D. (1970), Pervyi prezident, Del', D. (1970), P'esy. Pervyi prezident. Tret'ia versta. Aleksandr Pushkin. Leningrad: Iskusstvo, ss. 17 – 68.
17. Del', D. (1970), Tret'ia versta, Del', D. (1970), P'esy. Pervyi prezident. Tret'ia versta. Aleksandr Pushkin. Leningrad: Iskusstvo, ss. 69 – 125.
18. Dobrenko, E. (1993), Metafora vlasti. Literatura stalinskoi epohi v istoricheskom osveshchenii. München: Verlag Otto Sagner
19. Dobrenko, E. (1997), Formovka sovetskogo chitatelia. Sotsial'nye i esteticheskie predposylki retseptsii sovetskoi literatury. Sankt-Peterburg: Akademicheskii proekt
20. Dobrenko, E. (1999), Formovka sovetskogo pisatel'ia. Sotsial'nye i esteticheskie istoki sovetskoi literaturnoi kul'tury. Sankt-Peterburg: Akademicheskii proekt
21. Efimov, I. (1990), Ne sotvori sebe kumira. Leningrad: Lenizdat, 430 s.
22. Ekimov, B. (1980), Posledniaia hata. Rasskazy. Moskva: Sovremennik, 269 s.
23. Ekimov, B. (1990), Donos, Ekimov, B. (1990), Donos. Povesti i rasskazy. Moskva: Sovremennik, ss. 52 – 110.
24. Emel'ianov, G. (1972), Daliokie goroda. Povest'. Kemerovo: Kemerovskoe knizhnoe izdatel'stvo, 160 s.
25. Galin, B. (1948), V Donbasse. Ocherki. Moskva: Sovetskii pisatel', 252 s.

26. Galin, B. (1958), *Vo imia budushchego*. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoi literatury, 584 s.
27. Galin, B. (1976), *V grozu i buriu. Ocherki 30 – 70-h godov*. Moskva: Hudozhestvennaia literatura, 520 s.
28. Gladkov, F. (1957), *Energiiia. Roman*. Moskva: Sovetskii pisatel', 626 s.
29. Gladkov, F. (1986), *Kliatva. Povest'*, Gladkov, F. (1986), *Tsement. Roman. Povesti*. Moskva: Pravda, ss. 329 – 446.
30. Gladkov, F. (1986), *Tsement. Roman*, Gladkov, F. (1986), *Tsement. Roman. Povesti*. Moskva: Pravda, ss. 5 – 246.
31. Glazov, G. (1988), *Postskriptum. Roman*. L'vov: Kameniar, 208 s.
32. Goff, I. (1971), *Poiushchie za stolom*, Goff, I. (1971), *Poiushchie za stolom. Rassказы*. Moskva: Sovetskaia Rossiia, ss. 31 – 39.
33. Goff, I. (1971), *Skuchnye vechera*, Goff, I. (1971), *Poiushchie za stolom. Rassказы*. Moskva: Sovetskaia Rossiia, ss. 87 – 90.
34. Goff, I. (1971), *Tot dlinnyi den'*, Goff, I. (1971), *Poiushchie za stolom. Rassказы*. Moskva: Sovetskaia Rossiia, ss. 5 – 10.
35. Goff, I. (1984), *Prevrashcheniia. Povest' vospominanii. Rassказы*. Moskva: Sovetskii pisatel', 280 s.
36. Golubeva, I. (1986), *Dom v Olinfe*, Golubeva, I. (1986), *Dom v Olinfe. Povest' i rassказы*. Moskva: Molodaia gvardiia, ss. 4 – 33.
37. Gorbunov, V. (1976), *Mesto pod solntsem. Povesti*. Moskva: Sovremennik, 269 s.
38. Gorbunov, V. (1982), *Kolleksiia. Roman*. Moskva: Moskovskii rabochii, 447 s.
39. Gordin, Ia. (1981), *Tri voiny Benito Huaresa. Povest' o vydaiushchemsia meksikanskom revoliutsionere*. Moskva: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 366 s.
40. Gramzin, S. (1981), *Zhivotsvet. Povest'*. Rassказы. Moskva: Sovremennik, 303 s.
41. Gretsev, E. (1984), *Eho v stepi. Roman*. Moskva: Voennoe izdatel'stvo, 304 s.
42. Gribanov, B. (1987), *Zhanna d'Ark iz Ist-Saida. Povest' ob Elizabet Flinn*. Moskva: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 351 s.
43. Gribov, Iu. (1979), *Vysokovskie stariki*, Moskva: Sovetskaia Rossiia, 128 s.
44. Gribov, Iu. (1984), *Prazdnik v Usol'e*, Stavskii, E. (1984), sost., *Vtoroe rozhdenie. Povesti, rassказы, ocherki i stohotvoreniiia o liudiah Rossiiskogo Nechetnopzem'ia*. Leningrad: Lenizdat, ss. 129 – 139.
45. Gridin, G., Stepanov, A. (1987), *Vol'nyi svet. Prostye dni. Rassказы*. Moskva: Sovremennik, 271 s.
46. Grubbe, Iu. (1971), *Tropy pod kronami. Rassказы*. Syktyvkar: Komi knizhnoe izdatel'stvo, 104 s.

47. Grubbe, Iu. (1978), *Eskizy po pamiati. Rasskazy. Novelly*. Syktyvkar: Komi knizhnoe izdatel'stvo, 176 s.
48. Gubanov, P. (1982), *Kochegar Dzhim Garmlei*, Gubanov, P. (1982), *Korela. Povesti i rasskazy*. Petrozavodsk: Kareliia, ss. 152 – 193.
49. Gubanov, P. (1982), *Korela*, Gubanov, P. (1982), *Korela. Povesti i rasskazy*. Petrozavodsk: Kareliia, ss. 5 – 111.
50. Gubanov, P. (1982), *Prestuplenie v Solt-Leik-Siti*, Gubanov, P. (1982), *Korela. Povesti i rasskazy*. Petrozavodsk: Kareliia, ss. 112 – 151.
51. Gubarev, V. (1987), *Sarkofag. Tragediia*. Moskva: Iiskusstvo, 85 s.
52. Gyrylova, S. (1989), *Bosaia v zerkale. Pomiluite posmertno. Roman-dilogiia*. Moskva: Sovremennik, 348 s.
53. Hosking, G. (2009), *Rulers and Victims. The Russians in the Soviet Union*. Harvard University Press, 496 p.
54. Iroshnikova, I. (1985), *Moskva – Krutoborsk. Semeinaia hronika. Roman*. Moskva: Sovetskii pisatel', 296 s.
55. Ivanov, B. (1958), *Dal' svobodnogo romana*. Moskva: Sovetskii pisatel', 716 s.
56. Keptuke, G. (1991), *Malen'kaia Amerika. Povest', rasskazy*. Moskva: Sovremennik, 207 s.
57. Kim, A. (1981), *Utopiia Gurina*, Kim, A. (1981), *Nefritovyi poias. Povesti*. Moskva: Molodaia gvardiia, ss. 177 – 284.
58. Kudashev, A. (1959), *Ledianoi ostrov*. Novosibirsk: Novosibiskoe knizhnoe izdatel'stvo, 308 s.
59. Serebriakova, G. (1964), *Zhenshchiny epohi Frantsuzskoi revoliutsii*. Moskva: Sovetskii pisatel', 279 s.
60. Tan-Bogoraz, V. (1962), *Vosem' plemion. Chukotskie rasskazy*. Moskva: Izdatel'stvo hudozhestvennoi literatury, 404 s.
61. Vaniushin, V. (1961), *Vtoraia zhizn'*. Nauchno-fantasticheskii roman. Alma-Ata: Kazahskoe gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoi literatury, 260 s.
62. Vasil'chikov, S. (1989), *Provintsial'nyi roman*. Tula: Priokskoe knizhnoe izdatel'stvo, 288 s.
63. Vlasov, S. (1975), *Kara-taiga. Povest'*. Kemerovo: Kemerovskoe knizhnoe izdatel'stvo, 312 s.
64. Volkov, Iu. (1976), *Svet nad Tengizom*. Moskva: Politizdat, 168 s.
65. Zlobin, S. (1973), *Salavat Iulaev. Istoricheskii roman*. Sverdlovsk: Sredne-Ural'skoe knizhnoe izdatel'stvo, 472 s.

**NIBELUNGS ON THE MARGINS: TRANSFORMATION OF
THE NIBELUNGEN LEGEND IN THE FOLKLORE OF GERMAN-
SCANDINAVIAN FRONTIER**

Sarakaeva E.A.

Sarakaeva Elina Alievna, Hainan state University
China, 570228, Hainan province, Haikou city, Meilan district, isle of Haidiandao,
People's Avenue. Email: 2689655292@qq.com

Frequent economical, political and cultural exchanges between German and Scandinavian people during the Middle Ages led to the large scale changes that affected many parts of people's lives and resulted in the appearance of German-Scandinavian frontier culture with its specific features.

This article, using the example of Middle German heroic epic "Das Nibelungenlied" ("The Lay of the Nibelungs") and the corpus of adjoining texts that comprise "the legend of Nibelungs / Nibelungenlegend" aims at describing how literature transgresses boundaries, how frontier literature and folklore function in their new space, how canon texts are restructured following the effects of migration and how the ancient and the new plots can be blended in new works of art.

The article begins with a short review of the existing manuscripts of the medieval German heroic epos "Das Nibelungenlied". The most characteristic features of the manuscripts are briefly described. Special attention is paid to the so called m and n-versions dating back to the XIV-XV centuries (Darmstadt manuscripts) of the poem, as they can be regarded the marginal versions, containing a specific mixture of oral and written traditions of the Nibelungen legend.

The article proceeds with description of how Nibelungen legend is reflected and transformed in the folklore of Faeroe Islands. Further the article discusses the contents of medieval Danish ballads of the Hven island "Grimhild's Vengeance" ("Grimhildis Hæven"), the history of creation and the publication of these ballads is briefly described. The content-analysis of texts allows the author to draw a number of conclusions on the sources which formed the basis of these works of folklore, and more widely – about the ways of evolution of Nibelungen legend within the space of medieval German-Scandinavian frontier.

Key words: heroic epic "The Nibelungenlied" ("The Lay of The Nibelungs"), Faeroe islands, Nibelungen legend, Darmstadt manuscripts, ballads of the Hven island, "Grimhild's Vengeance" ("Grimhildis Hæven"), "Thidreks saga", "Edda", German-Scandinavian frontier.

Frequent meetings between medieval and late-medieval Scandinavians and Germans led to exchanges and changes in many forms. European countries that bordered Baltic and North Seas were connected by a broad web of economical, political and personal relations. Migrations waves carried Scandinavians and Germans to and fro. Intermarriages became frequent. Numerous Middle Low German borrowings entered mainland Scandinavian

languages and affected them considerably (Braunmüller 2013). The most striking influence it had on the Danish language due to written exchange and live intercourses with German-speaking people (Poulsen 2013, 31). For instance, in 1420s the administration bodies of the Danish city of Ribe issued their official papers in Low German! (*ibid*). Many forms of administrative, guild, craft organizations were shaped according to German models. As a number of authors show, the process of europeanization brought together people from many countries – England, Scotland, the Low Countries, the countries of Baltic, Russia, Holland etc. (Winter 1973, Naum 2014), still the most stable and frequent exchange was among Germany and Scandinavian countries.

German merchants were visiting Scandinavian countries since the Viking Age, especially those from Saxony and Westphalia. Saxo the Grammatian speaks about a German colony in Danish Roskilde. The presence of German merchants is documented abundantly in many cities of the North. Around 1300 onwards Danish coin was even dominated by German coins. Bjørn Poulsen remarks that, according to cadastral survey from 1377, at least one fourth of Copenhagen's population had German names (Poulsen 2013, 42). The first printed book in Denmark was printed by a German in 1482 and focused on fear of Turks, a common theme for many Europeans. Sofia Gustaffson finds similar tendencies in medieval Swedish urban culture (Gustaffson 2013). Scandinavian influence manifests itself in many elements of medieval technological inventions borrowed by Germany and other countries of Western Europe: windmill (XII century), some iron tools, among which innovative ploughshares, new ship types, like cog (XIII century), stronger iron (around 1350), which had profound effect on warfare, transport and agriculture (Mortensen, Bisgaard 2013, 13).

As all these facts suggest, the encounters between Germans and Scandinavians, important and large-scaled, can be described as a common *German-Scandinavian frontier*. Using B. Poulsen's definition "A true transnational, cultural space" appeared where "thousands of people moved, new cultural patterns were created, networks shaped and integration on various levels took place" (Poulsen 2013, 56). The processes of migrants' integration and the resulting cultural and economical changes brought to existence new forms of material and spiritual life.

Transnational movements of ideas between European intellectual centres and the North contributed to the flourishing of history, literature and sciences in the later periods. German-Scandinavian frontier was, among other things, a dynamic intellectual exchange across national boundaries, cultures and languages. This intellectual exchange affected not only educated people but common folk, as is evident from contemporary literature and folklore.

This article, using the example of Middle German heroic epic “Das Nibelungenlied” (“The Lay of the Nibelungs”) and the corpus of adjoining texts that comprise “the legend of Nibelungs/ Nibelungenlegend”¹ aims at describing how literature transgresses boundaries, how frontier literature and folklore function in their new space, how canon texts are restructured following the effects of migration and how the ancient and the new plots can be blended in new works of art.

For this aim I will examine three pieces that bear clear evidence of intercultural influence of the frontier:

- 1) XIV century Darmstadt manuscripts of the heroic epic “Das Nibelungenlied”, the most marginal among others;
- 2) XII century dancing ballads of the Faeroe islands, the Nibelungen cycle;
- 3) Three ballads of the Hven island about Kriemhild’s revenge as recorded by Danish scholar Andreas Vedel.

The plot twists of the Darmstadt manuscripts

The medieval German heroic epic “Das Nibelungenlied” (“The Lay of The Nibelungs”) created supposedly around Passau at the beginning of the XIII century enjoyed tremendous popularity from the start, as demonstrated by the number of manuscripts preserving the text of the poem. All in all there are 35 manuscripts discovered in monasteries and ancient book collections in various places, mostly around Worms and the southeast of the Danube basin, where the action of the poem takes place and where evidently a strong local tradition of the Nibelungen legend existed through centuries (Heinzle 2002,122).

Manuscripts of the poem are traditionally divided into two large groups, according to the final words of the text:

Nôt-version, with the last sentence being “*daz ist der Nibelunge nôt*” (“that is the downfall of the Nibelungs), to which group two major manuscripts **A** and **B** belong, as well as a number of hybrid versions;

Liet-version, the last words being “*daz ist der Nibelunge leit*” (“that is the song of the Nibelungs”), represented by **C**-manuscript and its satellites.

Another differentiation is according to the way the parchment manuscripts are designated. Capital letters are used to indicate that a manuscript was written down in the XIII-XIV centuries, small letters show that they are written down at the end of XIV and through the XVI century. Thus, there are A, B, C, D, E, F, G, H, I(J), K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, V, X, Y, Z, a,b,c,d,g,h,i, k,

¹ I use this term in this and other works for what Andreas Heusler would call “Nibelungensaga” – the whole corpus of legends and plots about Siegfried’s life and death, Kriemhild’s revenge and the demise of the Burgundians.

l, m,n manuscripts plus a fragment of a Dutch version called T-manuscript (Heinzle 2002,105).

Of all these the most important are **A**, **B**, and **C**-manuscripts for they record the whole text of the poem, while others have less, sometimes only fragments of the original text. The manuscripts differ considerably from one another with respect to the content and the form of the text. The modern researchers believe **B**-version to be the closest to the original text, so the majority of them in their analyses and quotations lean on **B**-manuscript as edited by Helmut de Boor (Das Nibelungenlied. Ed. Helmut de Boor 1963) .

This article studies the peculiarities of two manuscripts, **m** and **n**-versions, know as Darmstadt manuscripts, for they reflect an interesting mixture of the oral and written tradition of the Nibelungen legend.

The **m** and **n**-versions of the text differ from the main tradition of the Nibelungen-manuscripts. They contain considerable changes or rather adaptations of the plot. The scribes and editors of **m** and **n**-versions adhere to the oral tradition of the epic material, which evidently was still very much alive by the time these manuscripts appeared.

The Darmstadt manuscripts (presently kept by the library Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Hs. 3249, Hs 4257) were discovered quite lately, in 1976. The **m**-version dates from the middle or the second half of the XIV century. Unfortunately, the manuscript is almost lost – what remains doesn't preserve the text of the poem; it only has its contents, i.e., a list of *âventiuren* – chapters of the epic, so the manuscript is referred to by the researchers as “Darmstädter Aventiurenverzeichnis” (The Index of the *Âventiuren* from Darmstadt). The most remarkable feature of this index is that among familiar chapters there are four that originated not from the written text of the heroic epic as it was created by *Nibelungenditter*, the unknown author at the beginning of the XIII century, but something totally alien to the original written text – the story how Kriemhild was abducted by a dragon and how Siegfried rescued her through a number of adventures and heroic exploits.

Siegfried's fight with the dragon remains in the outskirts of the plot of the epic. We learn about it from the lips of Hagen who briefly describes this fight among the other heroic deeds of the young protagonist. In the epic the dragon-fight itself seems to be less important than its consequence: after basing in dragon's blood Siegfried becomes invulnerable, his skin impregnable for any weapon.

Yet the dragon-killing has always been one of the most important parts of the legend, it's very core, for it directly reflects the basic proto-myth of the Indo-Arians: the Demiurge fights the chthonic Serpent. Throughout Germanic traditions, the hero is primarily a dragon-slayer who saves peoples and gains treasure by defeating a dragon. As asserted by many researches (Flood 2002,

Sarakaeva 2016 etc), killing a dragon is a basic characteristic of a Germanic hero, it is something The Hero must do and always does. Siegfried is not a hero because he kills a dragon – he is a hero, *therefore* he kills a dragon.

In German Literary tradition this heroic fight was described many times and in many genres, from the lofty songs of the “Elder Edda” to the late medieval comics for the plebs. The fight with the dragon is an essential part of the medieval German poem “Das lied vom hürnen Seyfrid” (The lay of Siegfried with horny skin), the plot of which is believed to be based on the Norwegian “Thidreks saga” rather than “Das Nibelungenlied”. Here the young hero after killing the monster fetches tree-trunks and throws them on the dead body of his enemy. Then he sets it all on fire, and when the horny skin of the monster melts in the heat, he smears his whole body with it so his own skin becomes as hard as horn:

“Das her ward aller hürnen

Dann zwischen den schultern nit

Und an der selben state

Er seynen tode lidt

Als jr in andern dichten

Hernach werdt hören wol.....” (Das Lied vom hürnen Seyfrid, 1958, 106).

But as if fighting one dragon is not enough, the protagonist once more has to face a serpent adversary: Kriemhild, the princess of Burgundy, has been abducted by a dragon so the hero once again sets on a dragon-killing journey. Siegfried doesn’t even have to arrive in Worms to learn about the news – while hunting in the forest he comes upon the beasts’ tracks which lead him to a rock where the beautiful prisoner is kept. A terrible fight ensues and Siegfried does away with one more dragon, brings Kriemhild to her father’s realms and falls in love with her.

The primary myth about the abduction of a fair maiden by a dragon and her rescue by the hero, preserved in folklore and literature tradition of each and every Indo-European nation, finds its way into the Darmstadt **m**-manuscript of “Das Nibelungenlied”. Between the episode in which Siegfried first meets Kriemhild (corresponding to *Âventiure* 5 in **B**-manuscript) and the one where Siegfried leaves the Burgundians in Iceland to fetch his own vassals (*Âventiure* 8) the **m**-version has four chapters with the following headings:

1) *Abinture wie Gunter noch Kriemilde farin wolde und wie sie hinder ein wildir darche*

(How Gunther intended to journey to [Brunhild] and how a ferocious dragon prevented them);

2) *Abinture wie Kriemilde name in wildir drache und furte sie uff einen hohin stein*

(How a ferocious dragon stole Kriemhild and took her to a high rock);

3) *Abinture wie Siferit die juncfrauwe von dem drachin steine gewen mit manchyr groszin arbeit*

(How Siegfried won the maiden back from the dragon's rock with great effort);

4) *Abinture daz Siferit den drachin hatte ubir wondin und fur mit siner juncfrauwe an dem Rin*

(How Siegfried overcame the dragon and journeyed with his maiden to the Rhine).

The second Darmstadt manuscript, **n**-version, also keeps traces of this story. **N**-manuscript, though it doesn't have a whole chapter devoted to the rescue of Kriemhild from the dragon, still contains a passing reference to it. Explaining her love for Siegfried, Kriemhild says:

“Wan er hat mich vß engstlicher not

Vff dem trachen steyn da must ich syn gelegen dot” (Vorderstemann, 1976,121).

N-manuscript was found in 1976 in a codex of texts composed around 1449 (or probably 1470-1480). Apart from the version of “Das Nibelungenlied” the codex contains a Berlin manuscript of “Alfartus Tod” and a text entitled “Wilhelm von Österreich”. The text of the manuscript deals only with the Lay of Burgundians, it describes the demise of the nibelungs as the result of Kriemhild's revenge. The introduction provides a short summary of the preceding events and joins the text (as we know it from the other manuscripts) at the 25th Aventure (how the Burgundians crossed the Danube and travelled to the Hunnish lands and how Hagen met the mermaids). The **n**-manuscript deals with the poem quite liberally, partly following **B**-version, partly preferring **C**-version. The text is restructured, partly abridged, partly expanded.

What makes the **n**-version special is the motives not found in the canon text, but circulating in the oral tradition and the number of literary works of the same plot. Besides the story about Kriemhild's abduction by the dragon, which, though not told explicitly, is referred to in the heroine's speech, we find here the ancient idea of how the murderer dealt with Siegfried's body. The North version, reflected in the songs of the “Elder Edda” speaks of Siegfried being killed in his own bed, so Kriemhild awoke by the side of her dead husband, covered with his blood. The West German tradition has Siegfried killed in the forest, Hagen leaving his body at the widow's doorstep. **N**-manuscript tries to combine both motives: here Siegfried is killed during the hunting expedition in the forest, in accordance with Hagen's elaborate plan, but then Hagen would not only bring his body to Kriemhild's door – he takes troubles to enter the chamber and put the corpse into her bed. This episode in fact corresponds to how the events are

describes in the Norwegian “Thidreks saga” (which never misses a chance to add some gory details to the story).

The third unusual feature of the n-vesrion is the characters’ kinship relations. Here, in accordance with the ancient tradition, Hagen is a half-brother of Kriemhild and the Burgundian kings, so the manuscript speaks of Siegfried murdered by his brother-in-law. Again, this motif is found in the “Edda”, in “Thidreks saga” and in a number of late medieval literary works, such as “The lay of Siegfried with horny skin” and the prosaic “Historia von dem gehörnten Siegfried”.

As my short review shows, the peculiarities of Darmstadt manuscripts can serve as a convincing evidence that the legend of nibelungs, which I consider to be one of the most basic, archetypical myths of the Germanic peoples, have been transmitted both in oral and written tradition beginning from the Dark Ages through High Middle Ages and on into the late Medieval period when it gradually becomes vulgarized, banalized and expired – to triumphantly arise again in our times like a phoenix from the ashes. The transformation of the plot as reflected in Darmstadt manuscripts suggests cultural contacts with other Germanic peoples – the coincidence with the Norwegian “Thidreks saga” prompts influence of the Scandinavian frontier exchanges.

The legend of the Nibelungs in the folklore of Faeroe Islands

Faeroe Islands are a group of eighteen islands belonging to Denmark since 1948. It is an autonomous region inhabited by approximately 50,000 people by now. The islands have a great number of cliffs and are enclosed by Scotland, Iceland and Norway. The population of these islands enjoy the same high standard of living as the rest of Scandinavians. What makes these islands special is an 800 hundred year-old culture of ballad singing and ring dancing, still vividly alive. The rich tradition of folklore ballads attracts the interest of literary scholars, medievalists and musicians.

By nowadays around 250 ancient ballads have been recorded here since 18th century, when the folk culture of Faroe first attracted scholarly attention. The verses are chanted by a leader standing in the middle of the ring of dancers who move round him and sing the refrain which follows each verse. The steps are simple - four to the left, two to the right - but with gestures and bodily movements, as well as with their voices, the dancers enact in mime the story of the ballad. There is no musical accompaniment. During the performance men and women alternately play the role of lead singers and dancers, and the ring joins them. This kind of “square dancing” presumably originated in medieval France, spread all over Europe but survived only in marginal regions (Eder 2002). Outside of the Germanic language family it is known in Balkans and in Greece.

The community dances are held on special occasions, for example, following a whale kill, around religious holidays, at New Year's, and so forth. Lenora Tim suggests that the ring dance is metaphorical (Timm 1982, 688), because dancers - with arms linked as they move, forming nearly parallel rows that wind back and forth through the dance-hall - may be said to symbolize the islands' sinuous topography and the eddies and whorls of the surrounding waters. Moreover, as Jonathon Wylie and David Margolin see it, the dancers' ring represents "the Faroese adaptation of large forms to a land of closely known neighbours and landscapes, the complex inward turnings of culture, and its tortuous sense of wholeness" (Wylie 1981,12).

The ballads, partly Faeroese and partly Danish, have various contents: history, heroic legends, love, magic, social criticism, fairy-tale motifs. Even to the present day the popular tradition keeps such prominent medieval plots as the stories of Siegfried and the Nibelungs, Charlemagne and Roland, Dietrich von Bern and Tristan. The Faeroese ballads were kept alive by the geographical isolation of the islands. Moreover, they survived because they played a very important function - they saved the identity of the small Faeroese people during the Danish occupation and through the years that followed (Eder 2002, 307).

Among the ballads of the Faeroe Islands, three groups of dance ballads roughly based on the Medieval German epic "The Nibelungenlied" survived through the centuries:

- 1) Sjurd-ar kvaed-i (Regir smid-i): ballads telling about the youth and adventures of Sigurd (Siegfried);
- 2) Brynhildar tattu: ballads about Brünhild and the marriage quest;
- 3) Høgna tattu: ballads about Hagen and death of the Nibelungs.

The texts of the comparable ballads exist in Norway, Iceland and Denmark (note for instance one of the most famous pieces, the Danish ballad "Grimhilds Hævn" retelling the demise of the Nibelungs). But the original manuscripts of such ballads have vanished long ago along with the tunes and they do not exist in live folklore tradition, whereas the Nibelungen cycle of the Faeroe Islands is still danced and sung.

The Faeroese ballads recount the Nibelungen legend according to the Norse tradition, beginning with Sigurd's youth and ending with the disaster at king Atli's court, but the lyrics show considerable influence of German epic "Das Nibelungenlied" - chiefly through the Norwegian "Thidreks Saga af Bern" as an intermediary. The performance of all the Nibelungen cycle takes approximately three hours.

Lockwood suggests that the epic ballad reached the Faeroe Islands in the 13th century, when the genre was cultivated in Norway, while a close connection existed between the Norway capital Bergen and the islands, at the time a Norwegian dependency (Lockwood 1979). The XIV and the XV

centuries were probably the classical period of the Faroese ballad, which places the ballads of the Nibelungen cycle among the very earliest of Faroese ballads. However, extraneous matter undoubtedly found its way into the texts as now known, notably verses from an account of Sigurd's meeting with a dwarf's daughter which originally belong to a separate ballad "Dvørgamoy" ("Dwarf Maiden") (Lockwood 1979, 270).

As I have pointed above, with a run of almost seven hundred years or so, Nibelungen ballads in the Faeroe Islands remain as popular as any comparable work of art. Danish priest H.C. Lyngbye, who was one of the first to start collecting the ballads at the Faeroe Islands, describes them as great favourites of the locals. Names and characters of the ballads entered the everyday thesaurus of the Faeroe people and served as a material for proverbs and poetic tropes. For example, the name *Regin* was used figuratively for a deceitful workman. Quotations from the poems could be heard in ordinary conversation, for example Gudrun's words:

*"Elska hann sum annar eigur,
tað man lukkast valla".*

("Love for someone another possesses-that can bring no luck")

Her solicitude for Grani, Sigurd's horse, after the death of his master, was held up as a model for the considerate treatment of animals:

*"Tað er satt, sum talað er,
mong er konan eym;
Guðrum gongur um allan beim,
hon beldurí Grana teym".*

("It is true, as they say, many a woman is pitiful; Gudrun wanders through the wide world, holds fast to Grani's rein).

During his visits to Faeroe Islands at the end of 20th century, Lockwood stayed at Josefina Poulsen's house on Hestur. Josefina, a poor widow in her sixties, was well-versed in the unwritten literature of the Faeroe Islanders and was a remarkable dancer and singer of the ballads, of which the stories of Gudrun and of Sigurd's death were her favourites. While chanting the lyrics, she grieved with Gudrun and sighed over Sigurd cruelly murdered in the woods. While listening to the ballads the scholars "realised we were listening to a voice from the Middle Ages, the authentic voice of the thirteenth century, echoing the Nibelungenlied" (Lockwood 1979, 271-272).

Thus, for the people of the Faeroe Islands the medieval epic ballads still represent life tangibly and credibly. It may be truly said that not only the fabric, but equally the spirit of "Das Nibelungenlied" tradition lives on longest in the Faeroe Islands where, in exceptional isolation, almost stationary social conditions favoured the continuation of an artistic form from the distant past.

Danish Nibelungen ballads

In 1586 the queen of Denmark Sofia, travelling by sea, was overtaken by bad weather near the small Danish island of Hven, so she had to take shelter there for a while. There was an observatory on the island where the famous astronomer Tycho Braga conducted his research. There was one more famous person on the island at that time - the Encyclopaedist and ethnographer Andres Sörenson Vedel (1542-1616), engaged at the preserving masterpieces of Danish medieval history and folklore. Having come to be in one house with these two prominent men, the queen wished to listen to their stories about history of the country, and then Vedel, the collector of national folklore, began to recite Danish folk songs. He had just come across a valuable manuscript containing records of the so-called *kjæmpeviser* – medieval heroic ballads of the XIV-XVI centuries. Some of these songs he recited to the royal listener. The queen was enraptured and immediately ordered him to make a collection of these ballads and prepare them for printing.

Following this order, a selection of hundred ballads was printed in 1591 under the name "*Et Hundred udvalgte danske Viser*" (Weiss 2002, 15). The ballads of this collection, partially based on historical events, were sated with fantastic adventures, magic and formulary elements, traditional for folklore. It is difficult to overestimate Vedel's merits in preservation and the edition of the Danish folk art – his collection stimulated attention to and interest in national heroic poetry, it opened for Europeans a window to the world of the Scandinavian Middle Ages.

Researchers of the German heroic epos "Das Nibelungenlied" and the related corpus of texts owe Vedel special gratitude, as among other things the collection contained three interesting ballads based on Nibelungen legend representing variations of the same plot – "Krimhilde's Revenge" ("Grimhildis Hæven"). We will give below the summary of each ballad:

"Grimhildis Hæven" No 1:

Dame Grimhild prepares a feat and convokes her vassals on a tournament and on a fight with the hero Hagen. Hagen on the seashore meets a mermaid and asks her what waits for him in "Hvenild's lands". The mermaid answers that there he would meet his death, and Hagen beheads her. Further he meets a ferryman and asks to transport him through the sea in exchange for a golden ring. The ferryman too warns him about the trap, Hagen kills him as well and gives a ring to his wife as an atoning gift. Lords Gunter and Gernot push their vessel onto water. A terrible storm breaks the oars, and the travellers use their gilded shields instead. On the bank a beautiful proud maiden meets them, but they go further and at the gate of Nörborogh castle demand to be let in. Hagen says that he is Dame Grimhild 's brother. The gatekeeper reports to the

queen that there are two knights at the gates: one with a violin, another in a gold helmet. The hostess explains that the violinist is not a hired musician - both guests are of royal lineage. She welcomes them in and offers refreshments and entertainment, then goes to a stone hall where her soldiers are hidden, and promises gold and castles as a reward for Hagen's death. A certain baron volunteers to kill the heroes, but Folker kills him with one blow, and 15 warriors more. To overcome Hagen the enemies throw peas on the floor, he slips and falls. Before Hagen bounds up Grimhild reminds him of an old agreement: if he falls to the ground he won't rise again. Hagen agrees to keep his promise and kneels down, a mortal wound is dealt to him, but he manages to kill three more men. Mortally wounded, he goes to Hammeren and opens his chest with treasures. A beauty Hvenild spends night with him and gives birth to their son Ranke. The ballad finishes with the short description of Ranke revenging his father's death -with "gold of nibelungs" he entices Grimhild into a cave and immures her there, she dies of hunger. Ranke goes to Bern and lives among Danes where he earns unfading glory. His mother remains on the island which gets its name from her - Hveen (Borrow 2014, 9-15).

"Grimhildis Hæven" No 2:

Dame Grimhild prepares a feast and convokes her vassals on bloody fight where many will lose their lives. Hagen's mother has an ominous dream: her son's horse stumbles when crossing a stream. She warns Hagen that his sister is sly, he shouldn't trust her. Hagen goes to the sea coast and meets a mermaid who can predict future. Hagen asks whether he will win the prize at the forthcoming tournament. The mermaid dissuades him from the trip, reminding that he has enough riches at home; it is his death that he will win in Hvenland. Hagen kills the mermaid - he knows how to cope with his enemies himself. The narration is transferred to Grimhild's house: two noblemen ride up to her castle and demand that the gatekeeper opens the gates for them. The latter refuses to open and reports about visitors to the queen. She says that these people are her brothers Hero Hagen and Folker the musician. With elegantly dressed ladies she goes down to greet them and demands that they leave their weapons – she can't bear seeing naked blades since king Siegfried's death. Hagen admits that he has killed king Siegfried and king Otelin, the same time when he lost his jacket and a gray stallion, those cold winters "when we stormed Troy". Grimhild escorts them to the hall, then hundred people with naked blades rush towards them. Grimhild promises gold to the one who will kill Hagen. Folker strikes fifteen people straight off, Hagen - twenty. Indignant queen reproaches brothers that they have killed so many soldiers, to which Hagen replies it is her own fault. Excited with the fight, Hagen lifts his helmet – he is tormented by thirst and he quenches it with the blood of the slain enemies *in nomine Domini*. At the end of the fight two heroes kill all the attackers. Dying of his wounds, Hagen thanks

Folker for his courage in fight. Grimhild grieves over the killed vassals, Hagen answers that if only he could have lived through day, he would have burnt her alive. In the last stanza the ballad laconically reports that Grimhild has to pay for the evil she did– Hagen's son caused her to die of starvation inside a hill (Borrow 2014, 16-21).

"Grimhildis Hæven" No 3:

Bodild, Hagen's mother, sobbing, tells about her vision - all horses in the country have died, it means that in Hvenish lands heroes will meet their death. Brave brothers Hagen and Folker go to the river bank and see a sleeping mermaid. They awake her with a question: what dangers wait for them in Hvenish lands. The mermaid advises them to return back, otherwise they will lose their lives. Hagen kills the mermaid, and the brothers go on. They find the house of the ferryman and demand that he transports them to the island in exchange for a golden ring. The ferryman refuses, for his Lady has forbidden him. Hagen, naturally, kills this one too and throws his body into the river Öresund. Lords Gunter and Gernot steer the boat off, a storm overtakes them on the way, the oars break, Hagen rows with his shield and moors ashore. There a certain guard sees them and identifies as "proud Atelings" - Folker is especially distinguished among them. He reports to the queen that the visitors are clad in armour, one of them carries a violin, another - a falcon. Grimhild explains that the violinist is not a hired musician, he is of a noble family, both of them are her brothers. Count Gungelin volunteers to battle against Hagen, promising his retainers to reward them with gold and woods. Hagen accepts the challenge, the fight between guests and hosts begins at once. Folker kills seven with a spear and boasts of how his violin cheerfully dances in the fray. Count Gungelin falls on his knees at Grimhild's feet and begs to exempt him from the fight with the fierce strangers, but she forces him to continue the fight "until Folker lies down dead". Folker addresses her with the speech: the battle continued for seven days, he is emaciated and covered with wounds, his weapon has broken in spills. Young Hubba Yern offers him the sword of his brother, the hero (by that moment two protagonists of the ballad – Hagen and Folker – merge into one) thanks him and promises his eternal friendship for this gift. Fight continues with a new force, the protagonist is ready to die as a hero (Borrow 2014, 21-27). The ballad breaks abruptly.

Even a brief survey of the ballads allows singling out four possible sources which have exerted impact on the plot formation:

1) "The Lay of the Nibelungs" - the text of the poem has served, as we believe, the main source which inspired the anonymous authors. Even without knowing the German language, they could be familiar with the oral retellings of the great heroic poem or they even could read the Danish translation – the so-called manuscript T contains the translation of "Nibelungs" into Danish. The

fact that the authors had some knowledge of the text of "The Lay" is demonstrated by such features as:

- all the three variants of the ballads describe the fighting daring of Folker-the-Musician;

- Hagen drinks blood of the fallen enemies;

- one ballad mentions the wife of the ferryman for whom the gold ring is intended;

- the gift of weapon in the middle of the fight and the unexpected appearance of a strange character called Hebba Yern – this image corresponds, I believe, to Rüdiger of "The Lay";

- before the final fight one of Grimhild's vassals falls on his knees and begs to be exempt from the combat – I believe this motif is also connected with Rüdiger, but the initial motivation of the refusal - unwillingness to take up arms against friends – is lost, and the author of the ballad is forced to replace it with fear of the enemies' strength;

- a vague mention of a certain strange oath which Hagen has to fulfil – I think it is a reflection of his famous oath in "The Lay" not to tell anybody where the treasure is hidden while the Burgundian kings remain alive. In the ballad the kings and the treasure are lost, but the folk memory still keeps some oath and transform it to the strange promise that Hagen gives, somewhere beyond the frames of the ballad: once he falls down he will admit his defeat and not get up.

- the mention of Troy which was besieged by Hagen is connected to his name in "The Lay" – Hagen of Tronje (Trony, Tronege) This name isn't known to the Scandinavian sources, but is repeatedly mentioned in the text of the heroic epos;

- a certain baron, in other version count Gunselin, is in all probability Duke Blödelin, Kriemhild's chief accomplice, who led the attack on the burgundians in "The Lay".

- Otelin killed by Hagen is, most likely, prince Ortlieb who, from an innocent child is transformed into a mighty king after Hagen, the protagonist, changed his status to an unambiguously positive character;

- the mention of certain lords Gunter and Gernot who steamed the boat on water.

2) "Thidreks saga", a prosaic text written by a Norwegian author after he heard – according to his own words – the "Lay of the Nibelungs" retold by Saxon merchants while in Germany. "Thidreks saga" circulated broadly in Scandinavian countries and was translated into Danish. With some changes and additions it circulated in Denmark under the name "Didrik's Chronicles". The ballads possibly borrowed the following motives from the "Saga":

- Hagen, angry about the ominous prediction, kills the mermaid (in "The Lay" he politely thanks prophetic maidens and leaves them in peace);

- fatally wounded Hagen manages to conceive a son with the maiden by the name of Hvenild - her name the ballad inventively connects with the name of the island Hven;

- extended dialogues with the guard of castle gates – the guard himself doesn't play any significant role in the ballads. Yet in Nibelungen tradition Kriemhild's servant meets the Burgundians at the borders of Hunns' kingdom and warns them about the trap. This character, as Andreas Heusler points out (Heusler 1920, 445) is one of the most ancient ones, dating back to the times when Kriemhild (Gudrun) revenged *for* her brothers, not *to* them. Already by the time of "the Lay" the guard – his name is Ekkevert in the epic- lost his function and appears in the text only to oversleep a meeting, to lose his sword and to receive it back from Hagen. His namesake Ekivard in "Saga" warns heroes about a trap which his lady has set for them. In the Danish ballads the guard loses all these functions, but his image remains as a tribute to tradition and is used to characterize by his lips the main characters;

- Hagen before his death goes to "his father's chest of treasures", which is unclear without context. From Norwegian "Saga" we can figure out that it is about treasure of Nibelungs. Hagen gives the treasure to the woman who conceives a child from him and later his son uses the treasure to avenge his father's death.

3) "Edda", both poetic ("Elder") and prosaic ("Younger") - Icelandic heroic songs dating from the X to XIII centuries that contain the most ancient elements of Nibelungen legend which found reflection in the Danish ballads:

- Hagen is Kriemhild's half-brother (same mother, different fathers, according to the Nordic tradition);

- Hagen's mother sees a prophetic dream, and she dissuades heroes from their visiting trip;

- one of the reasons of the attack is a desire to acquire the visitors' gold;

- the heroes' demise is followed by the revenge to the murderers carried out by the representative(s) of the younger generation.

4) "Chronicles of the Hven island" - a prosaic compilation in Latin, tying the legend of Burgundians' death to Hven, the island where the ballads were recorded. Chronicles were written down in Latin in the XVI century and translated into Danish in XVII. Certainly, the influence could very well have gone in the opposite direction: the local folklore could have impact on the pseudo-historical chronicle. Anyway, I believe that local traditions of the island gave the ballads their toponyms – the names of the island, its rivers, castles and straits.

Of particular interest is the transformation of "The Lay" plot in national folk poetry. Cutting longueurs, deleting the unclear and the ambivalent, the creators of the ballads reduce the intricate plots of written works to a set of

recognizable formulas, at the same time creating their own, new works of art that have their own artistic merits. Thus, the Burgundian kings drop out of the folk ballads: their names remain as a tribute to tradition, but they become superfluous for the development of the plot. The format of the ballad allows only several key heroes, thus, Hagen and Kriemhild's terrible and awesome confrontation in the second part of "The Lay" leads to delineation of two antagonists: proud Dame Grimhild and Hero Hagen. The causes of the conflict between the two are paradoxically taken out from the plot framework. Siegfried is casually mentioned in the second ballad; however the reader or the listener unfamiliar with the Nibelungen legend will hardly understand that it is *his* death that caused the whole conflict. Siegfried isn't even mentioned in two other versions of the ballad, it is not explained what the heroine revenges upon the hero for.

An obvious influence of the German poem is demonstrated by the image of Folker. This character, as A. Heusler believes (Heusler 1920), appears at the latest stages of the legend's development, the very *Nibelungenditter*, the author of the "Lay", probably gave life to this character. However the image of the daring violinist who is equally good with his violin string and his sword was a lucky find indeed – his touching friendship with fierce Hagen introduces into the poem the motives of individual choice, personal attachments, warfare camaraderie and gives humanity to the heroes. The creators of the Danish ballads like this image so much that it occupies the central place in the plot alongside with Hagen, and even pushes Hagen into the background in the third version. Folker in the ballads is the younger brother of Hagen, however the hostility of the heroine isn't addressed to him. Thus, the plot of the Danish ballads spins around and returns back to the initial Scandinavian model – two brothers and a sister, the fatal gold and bloodbath in foreign lands.

Summing it up, Scandinavian ballads about Krimhild's revenge not only in themselves are outstanding samples of oral national poetry - they also show two paradoxical features of archaic consciousness and archaic historical memory. On the one hand, here the general dominates over the particulars; a literary formula – over the subject and psychological depths of belles lettres, an archetype – over a historical event. But at the same time we can observe how carefully national poetics treats names and some details, especially those that amazed and impressed the listeners and the storytellers.

In my opinion, it speaks about creative and mental attitudes of the medieval folklore authors essentially different from those of modern writers. Composing new songs on the basis of old classical works, they didn't consider themselves innovators, on the contrary, they believed that they translate real facts about real people and their deeds. That is the reason of their aspiration to keep the names and details that have already lost their meaning or plot values in

a new context. In other words, the anonymous folk poets of German-Scandinavian frontier created new works and new plots unbeknownst to themselves; involuntarily they submitted to the imperceptible pressure of culture and transformed initial plots according to the ancient, archetypical models.

References:

1. Borrow G.H. (2014) *Grimhild's Vengeance: Three Ballads*. NY: Creatspace.
2. Braunmüller Kurt (2013) *How Middle Low German Entered the Mainland Scandinavian Languages*. In *Guilds, Towns and Cultural Transmission in the North, 1300-1500*. University Press of Southern Denmark. Pp. 57-72.
3. *Das Lied vom hürnen Seyfrid* (1958). Critical edition with introduction and notes. – Manchester: Manchester University Press.
4. *Das Nibelungenlied*. Ed. Helmut de Boor (1963). In *Deutsche Klassiker des Mittelalters*, 17th ed. Wiesbaden.
5. Eder Annemarie, Müller Ulrich (2002). *Faeroe Islands*. In *The Nibelungen Tradition. An Encyclopedea*. NY and London: Routledge. Pp. 306-307
6. Flood J. L. (2002) *Siegfried's Dragon-Fight in German literary tradition*. In *The Nibelungen Tradition. An Encyclopedea*. NY and London: Routledge. Pp. 42-65.
7. Gustafsson Sofia (2013). *German Influence in Swedish Medieval Towns: Reflections upon the Time-bound Historiography of the Twentieth Century*. In *Guilds, Towns and Cultural Transmission in the North, 1300-1500*. University Press of Southern Denmark. Pp. 109-130.
8. Heinze Joachim (2002). *Manuscripts of the Nibelungenlied*. In *The Nibelungen Tradition. An Encyclopedea*. NY and London: Routledge. Pp. 209-214.
9. Heusler Andreas (1920). *Nibelungensage und Nibelungenlied: Die Stoffgeschichte des deutschen Heldenepos*. Dortmund: Ruhfus.
10. Lockwood W.B. (1979) *The Nibelungen Tradition in Faroese*. In *German Life and Letters*. Vol. 32. Issue 4, Pp. 265-272.
11. Mortensen L.B., Bisgaard L. *Late Medieval Urban Civilization and its North European Variant*. In *Guilds, Towns and Cultural Transmission in the North, 1300-1500*. University Press of Southern Denmark. Pp. 7-30.
12. Naum Magdalena (2014) *Multi-ethnicity and Material Exchanges in Late Medieval Tallinn*. In *European Journal of Archaeology*. Vol. 17 issue 14, Pp. 656-677.
13. Poulsen B. (2013) *The Movement of People between Northern Germany and Denmark*. In *Guilds, Towns and Cultural Transmission in the North, 1300-1500*. University Press of Southern Denmark. Pp.31-56.

14. Sarakaeva A.A., Sarakaeva E.A., Lebedeva I.V. (2016) Marriage, love and sex in the “Song of the Nibelungs”. In The modern world: experience, problems and prospects: materials of the II international research and practice conference October 31h. Los Gatos (CA), USA: Scientific public organization “Professional science”. Pp 211-225.
15. Timm Lenora. (1982) The Ring of Dancers: Images of Faroese Culture. Symbol and Culture Series. Review. In American Anthropologist Vol. 84, issue 3. Pp. 688-689.
16. Vorderstemann Jürgen (1976). Eine unbekannte Handschrift des Nibelungenliedes in der Hessischen landes – und Hochschulbibliothek Darmstadt. In ZfdA Vol. 105, Pp 115-122.
17. Weiss Gerlinde (2002) Grimhilds Hæven. In The Nibelungen Tradition. An Encyclopedea. NY and London: Routledge. P. 15.
18. Winter W.L. (1973) The Baltic as a Common Frontier of Eastern and Western Europe in the Middle Ages. In LITHUANIAN QUARTERLY JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES. Volume 19, No.4
19. Wylie Jonathan, Margolin David (1981). The Ring of Dancers: Images of Faroese Culture. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

НИБЕЛУНГИ НА ОКРАИНАХ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕГЕНДЫ О НИБЕЛУНГАХ В ФОЛКЛЬОРЕ ГЕРМАНО- СКАНДИНАВСКОГО ФРОНТИРА

Саракаева Э.А.

Саракаева Элина Алиевна, Хайнаньский государственный университет,
КНР, 570228, провинция Хайнань, город Хайкоу, район Мэйлань, остров
Хайдяньдао, ул. Народный Проспект. Эл. почта: 2689655292@qq.com

Многочисленные экономические, политические и культурные контакты между жителями германских земель и скандинавских стран, имевшие место в Средние века, оказали значительное влияние на жизнь средневекового общества и привели к возникновению особого германо-скандинавского фронта.

Настоящая статья ставит задачей, на примере средненемецкой героической поэмы «Песнь о нибелунгах» и широкого корпуса примыкающих к ней текстов, содержащих легенду о нибелунгах в разных ее формах, рассмотреть, как литература и фольклор перешагивают границы в условиях фронта, как они функционируют в новых пространствах, как канонические тексты и сюжеты реструктурируются под влиянием миграционных процессов, как древние и новые сюжеты сливаются в ткани новых художественных произведений.

В первой части работы приводится краткий обзор рукописей средневековой германской эпической поэмы «Песнь о нибелунгах» и перечисляются их отличительные черты. Особое внимание автор уделяет так называемым m и n-манускриптам, датируемым XIV-XV вв. (Дармштадским рукописям) в связи с оригинальной смесью письменной и устной традиций бытования легенды о нибелунгах, которую они содержат. Статья переходит к устному народному творчеству, автор приводит краткий обзор баллад Фарерских островов и рассматривает, какие изменения устная традиция внесла в сюжет. Далее рассматривается содержание средневековых датских баллад острова Хвен «Месть Кримхильды», кратко излагается история создания и публикации баллад. Контент-анализ текстов позволяет автору сделать ряд выводов об источниках, легших в основу этих произведений устного народного творчества, и шире – о путях эволюции легенд «нибелунговского» цикла в пространстве средневекового германо-скандинавского фронта.

Ключевые слова: героический эпос «Песнь о нибелунгах», Фарерские острова, легенда о нибелунгах, Дармштадские рукописи, баллады острова Хвен, «Месть Гримхильды», «Сага о Тидреке», «Эдда», германо-скандинавский фронт

Библиографический список:

1. Borrow G.H. (2014) Grimhild's Vengeance: Three Ballads. NY: Creatspace.
2. Braunmüller Kurt (2013) How Middle Low German Entered the Mainland Scandinavian Languages. In Guilds, Towns and Cultural Transmission in the North, 1300-1500. University Press of Southern Denmark. Pp. 57-72.
3. Das Lied vom hürnen Seyfrid (1958). Critical edition with introduction and notes. – Manchester: Manchester University Press.
4. Das Nibelungenlied. Ed. Helmut de Boor (1963). In Deutsche Klassiker des Mittelalters, 17th ed. Wiesbaden.
5. Eder Annemarie, Müller Ulrich (2002). Faeroe Islands. In The Nibelungen Tradition. An Encyclopedea. NY and London: Routledge. Pp. 306-307
6. Flood J. L. (2002) Siegfried's Dragon-Fight in German literary tradition. In The Nibelungen Tradition. An Encyclopedea. NY and London: Routledge. Pp. 42-65.
7. Gustafsson Sofia (2013). German Influence in Swedish Medieval Towns: Reflections upon the Time-bound Historiography of the Twentieth Century. In Guilds, Towns and Cultural Transmission in the North, 1300-1500. University Press of Southern Denmark. Pp. 109-130.
8. Heinze Joachim (2002). Manuscripts of the Nibelungenlied. In The Nibelungen Tradition. An Encyclopedea. NY and London: Routledge. Pp. 209-214.
9. Heusler Andreas (1920). Nibelungensage und Nibelungenlied: Die Stoffgeschichte des deutschen Heldenepos. Dortmund: Ruhfus.

10. Lockwood W.B. (1979) The Nibelungen Tradition in Faroese. In German Life and Letters. Vol. 32. Issue 4, Pp. 265-272.
11. Mortensen L.B., Bisgaard L. Late Medieval Urban Civilization and its North European Variant. In Guilds, Towns and Cultural Transmission in the North, 1300-1500. University Press of Southern Denmark. Pp. 7-30.
12. Naum Magdalena (2014) Multi-ethnicity and Material Exchanges in Late Medieval Tallinn. In European Journal of Archaeology. Vol. 17 issue 14, Pp. 656-677.
13. Poulsen B. (2013) The Movement of People between Northern Germany and Denmark. In Guilds, Towns and Cultural Transmission in the North, 1300-1500. University Press of Southern Denmark. Pp.31-56.
14. Sarakaeva A.A., Sarakaeva E.A., Lebedeva I.V. (2016) Marriage, love and sex in the “Song of the Nibelungs”. In The modern world: experience, problems and prospects: materials of the II international research and practice conference October 31h. Los Gatos (CA), USA: Scientific public organization “Professional science”. Pp 211-225.
15. Timm Lenora. (1982) The Ring of Dancers: Images of Faroese Culture. Symbol and Culture Series. Review. In American Anthropologist Vol. 84, issue 3. Pp. 688-689.
16. Vorderstemann Jürgen (1976). Eine unbekannte Handschrift des Nibelungenliedes in der Hessischen Landes – und Hochschulbibliothek Darmstadt. In ZfdA Vol. 105, Pp 115-122.
17. Weiss Gerlinde (2002) Grimhilds Hæven. In The Nibelungen Tradition. An Encyclopedea. NY and London: Routledge. P. 15.
18. Winter W.L. (1973) The Baltic as a Common Frontier of Eastern and Western Europe in the Middle Ages. In LITHUANIAN QUARTERLY JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES. Volume 19, No.4
19. Wylie Jonathan, Margolin David (1981). The Ring of Dancers: Images of Faroese Culture. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

FRONTIER ECONOMY: THE GLOBAL PERSPECTIVES OF CRYPTOCURRENCIES DEVELOPMENT

Boldyrikin A.A.

Alexander A. Boldyrikin, Ph.D. in Political Sciences International Relations
Department Voronezh State University
E-mail: commando@inbox.ru

In this article the author analyzes the perspectives of cryptocurrencies development in modern life and economy as a symbol of frontier economy and extremely new financial matter. A brief overview of electronic payments and virtual currency structure is given alongside with technical background. The emergence of electronic money and cryptocurrencies was an inevitable step in the evolution of Internet and electronic commerce. The author investigates the question how far cryptocurrencies might go in the nearest future as a symbol of frontier economy trends, keeping in mind that famous investors already buying cryptocurrencies, but governments are trying to ban this newly emerged threat to controlled money emission. The author therefore attempts to understand the phenomenon and explain why cryptocurrencies might undermine the existing financial systems.

Keywords: Frontier economy, cryptocurrency, structure of cryptocurrencies, electronic money, virtual currency, e-commerce.

Not so long ago, namely in 2013, the electronic payments system market was shocked by a sudden boom of a new financial tool named cryptocurrency. It emerged in 2009 when an unknown and anonymous person calling himself Satoshi Nakamoto introduced to the world the system of cryptocurrency generating. In this article the author attempts to analyze the phenomenon of cryptocurrencies genesis and development as a very new financial tool, understanding this kind of “brave new money” as a symbol of frontier economy, possibly representing a serious challenge or even an alternative to the traditional payment instruments that have been developed through the global economic history. However, in order proceed, one has to understand the different approaches to the term “frontier economy” and investigate what electronic currencies are in general.

There are two main definitions for frontier economy in the modern science. According to Harvard Business Review, the first one deals with the developing countries that are characterized by politically dependent markets, instable legal systems, unpredictable GDP dynamics and relatively low income per capita. Among the 25 economies that are expected to show growth in the nearest future, there are 19 that are considered frontier economies, such as Bangladesh, Bhutan, Maldives, Mozambique, Vietnam, Myanmar and Rwanda. Many of these countries possess large natural resources that attracts global

investors. The growth of frontier economy hardly depends on global trends but relies on the investments (Musacchio A., Werker E., 2016). The next stage of development for such countries is turning into emerging markets (Husain T., 2016).

The second definition of frontier economy can be understood as the transitional stage between the classic economy as we know it with traditional financial and monetary institutions – and the breaking new type of electronic economy based on absolutely new functional principles, hyper-fast global transactions and absence of institutional control, which presumes redefining money as we know it. This is the concept that this article is focused on.

Digital (electronic, virtual) currency — is electronic money that is used as alternative or additional currency, mostly in the systems of internet transactions for buying goods and services in the global network. At present, digital currencies are not emitted by national central banks. In most cases their value is linked to the national currencies, but there are also other exchange bases: they can also be linked to precious metals or have a floating exchange rate. The majority of modern Internet users have already become familiar with e-shopping and e-payments, already using electronic currencies and electronic payment services, such as PayPal or WebMoney, which allow users to make fast direct online transactions.

In 2013, Financial Crimes Enforcement Network, which itself is a bureau of the U.S. Department of the Treasury, has published a special report which gives an official interpretation for application of federal banking laws to the virtual currencies. FinCEN offers to define real and virtual currencies. A real currency is coins and bills of any country that are legally established as a payment means, have a free circulation and are commonly accepted as an exchange tool within the emitting country (Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies, 2016). The emerging of virtual currencies has quite logically given the grounds for the virtual payment systems development, which itself symbolizes a gradual but fast emerging of the new economy type. European Central Bank defines a payment system as a set of instruments, procedures and rules that service the financial transactions among the participants of such system (Kokkola T., 2016).

A virtual currency is understood as a tool for exchange that does not have the attributes of a real currency, but at the same time acting as a currency in certain areas of economy. What is more, neither jurisdiction can provide a legal payment means status for a virtual currency. Such currency can be considered convertible if it has an equivalent in real currency, or if it is used instead of real one. As a rule, electronic money is easily converted into the national currencies in the 1/1 ratio – for instance, one real US dollar is equal to one WebMoney USD. Using WebMoney, one can make almost any kind of

online payment. The only difference is that the regular clearing settlement or money wire is a strictly *personalized* transaction: both sides know each other's names, company titles, addresses and bank account details, whereas a virtual currency transfer does not require any details about the participants except for the number of receiver's electronic wallet. Another point is that a virtual transfer is way much faster than an ordinary money wire; it has a simplified verification system and usually takes only several seconds to complete. It is also very simple to start using the virtual money: the registration procedure is fast and takes minutes to accomplish, and the electronic wallet can be recharged using lots of common ways, including debit or credit card, bank terminals, ATMs, cash, etc.

In October 2012 European Central Bank has published a special report named "Virtual Currency Schemes". The report stated that "virtual communities have created and circulated their own currency for exchanging the goods and services they offer, and thereby provide a medium of exchange and a unit of account for that particular virtual community". According to this report, a virtual currency can be defined as "type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community" (Virtual Currency Schemes 2012).

Cryptocurrency is the next stage of electronic money evolution. With the growing development of peer-to-peer technology (P2P), high-speed LAN-based Internet, which does not depend on the phone lines any more, and the constantly increasing calculating power of personal computers, the emergence of cryptocurrencies was only a matter of time. The general definition of all cryptocurrencies existing today can be as following: cryptocurrency is a kind of digital currency, which is emitted and accounted on the basis of asymmetric encryption protocols and the use of various cryptographic security methods (Davidson J., 2013).

Scientific research of cryptocurrencies as new economic phenomenon has only started to take up its place in economic thought quite recently. First attempts to study this trend can be found in the books by D. Davidson, F. Tudor, P. Vigna, M. J. Casey, N. Daniels, etc (Vigna P., Casey M.J., 2015). Professor O. Marian from The University of Florida believes that "cryptocurrencies are "super tax havens," and says that "while cryptocurrencies are already considered taxable assets (under US tax law), the inability of the government to monitor blockchain transactions could mean a lot more people opting out of the tax system" (Caraluzzo C., 2014). Therefore, we may discover that the frontier economy possesses an absolutely new payment system that is *not linked to banks and other classic financial institutions*.

The structure of cryptocurrencies is totally decentralized. In the cryptocurrency systems there are no unified banks or centers: the whole network is an independent distributed system of peer client programs. Each of these

programs, in turn, is a fully autonomous structure which is connected to the global cryptocurrency network, which works 24/7 and is also fully automatic (Information on electronic payments system, 2015).

The most popular and widespread cryptocurrency today is called bitcoin. Open source code system of bitcoin generation, invented by Mr. Nakamoto, caused lots of analogues to emerge, such as Litecoin, Dogecoin, etc. These bitcoin analogues are generally called “forks”. Litecoin takes second place in the world after Bitcoin, other forks are falling behind these two leaders considerably. It is still unknown, whether Mr. Nakamoto is a real person or not, is it an individual or a group of talented developers – but since 2009 the term “cryptocurrency mining” has become widespread among the most advanced part of Internet users.

As described by the cryptocurrencies’ generation features, there can be no unified emission centers, so their emission is made by means of a so-called “mining”. This means using the calculations power (central processor or graphic processor) of a personal computer or a network of computers to generate a sequence (blockchain) of cryptocurrency transactions. This process uses hashing algorithms in order to make every block correspond to the strict rules prescribed by the system initially. Accordingly, generation of new coins is implemented simultaneously with transactions in the system, which means that if miners stop working, the whole system comes to a halt.

Starting from the middle of 2014 Bloomberg agency has launched a systematic tracking of bitcoin. According to Bloomberg, bitcoin as a currency is very unstable: after a continuous period of growth till December 2014, in January 2015 the price of one BTC suddenly dropped from 272 to 200 US Dollars, which, quite logically, should have made it very unlikely for the investors to continue buying bitcoins, even if compared with decreasing prices of Russian Rouble and oil (Kharif O., 2016). However, most analytics believed in a positive scenario for bitcoins and many financial experts continued to invest into bitcoin and other types of cryptocurrencies (Cryptopilot, 2016). This positive vision has come true: by the January 2017 one BTC equals to 831 USD (According to the exchange rate at coindesk.com, 2017), showing rocketing growth within just two year period.

In the context of current research it is necessary to note that high anonymity of electronic money makes governments and central banks really nervous about legal aspects of virtual money usage and also impossibility to apply traditional taxation frameworks to electronic financial transactions. Due to this fact in several countries, including Russian Federation, governments together with central banks plan to introduce official prohibition of cryptocurrencies’ usage, also emphasizing the fact that it’s the state that

possesses the exclusive authority of money emissions (Cryptocurrencies in Russia to be banned in spring 2015, 2015).

In Russian Federation legal persons are already banned from using cryptocurrencies. Again, Government and Central Bank motivated this decision by the will to ensure that money is emitted exclusively and only by the state. The full anonymity of transactions is another problem: there is no possibility neither to acquire any factual data about counterparties, nor to locate them anywhere on the network. This brings up another question of whether or not any obligatory personal identification can be introduced and how to do that taking into account the basic features of the system. It is also still questionable if such identification would be righteous and would it violate privacy of citizen. Another issue is how to protect the interests of counterparties on the legal basis should any misunderstandings or disputes occur as a result of cryptocurrency transactions. The problem can be generalized as following: nowadays governments lack comprehensive legal regulation systems of electronic currencies and they feel that they need to introduce such systems as soon as possible in order not to lose control over large flows of online capital. This is one of the most distinct features of today's frontier economy.

There is a number of famous entrepreneurs and large international corporations who are quite optimistic about the future of cryptocurrencies – and one of them is Virgin Group (Frisby D., 2016). It can be generally assumed that the society is tired of constant market volatility and fluctuations, instability and crises – and because of this fact the emergence of alternative currency that would be uncontrolled and virtually inaccessible by governments was also quite predictable. This also means a great potential for growth of the frontier economy trends. Some people also express an opinion that there is nothing illegal about cryptocurrencies, for the coins and bills that we use every day as money is not more than a commonly used matter of payment that resembles gold, silver and other precious metals. This is why bitcoin and other cryptocurrencies are not truly illegal – they are just a brave new emerging kind of money, flowing freely in the virtual world without any control from any single state on Earth, hence independent and dangerous for the traditional money emitters.

Because of this it would be quite logical to assume that in a long term cryptocurrencies could deliver a potential threat to the global financial order as we know it today both on national and international levels. If the process of switching to virtual money and cryptocurrencies would be somehow similar to the process of the global development of Internet, one might also think about large uncontrollable transactions made in total anonymity, provoking colossal turnovers of virtual currencies in the shadow economy. This might also result in:

1. Avoiding taxation on the level of large international companies.

2. Fully anonymous transactions, shifting the economy and counterparties to the shadow economy schemes and black markets.

3. Widespread use of crypto payments for financing terrorism and international criminal structures.

4. A greater clash between traditional economy and a frontier economy.

To conclude, it is hard to deny that cryptocurrencies have already developed into a new, fully functional and perspective financial tool, which is acknowledged by the leading investors and entrepreneurs, also becoming a clear symbol of frontier economy development. Even today, while the cryptocurrency systems still remain something new for the majority of people, it can also be noted that there is a high potential for radically shifting the traditional fundamentals of economic, taxation and financial law systems that have been existing for a long time and so far remained mostly unchanged. The challenge that cryptocurrencies are bringing are evident and it would probably take another five years to let the crypto payments spread widely across the world, but even now the governments are already making certain attempts to soften the possible shock of the freedoms and risks that this new frontier economy instrument offers to the people. The idea of financial liberalization and formation of the new type of economy by the means of Internet transactions described above seems to be quite popular among the citizen who are completely unsatisfied with the existing economic and financial practices. However, the perspective of development of a comprehensive legislative complex in the nearest future seems rather impossible due to the fact that governments cannot enforce control over online resources. In general, we might rightfully assume that with its breaking new financial tools the frontier economy represents not just a theoretical concept in the minds of several university professors, but becomes a reality when the old models of economic behavior are replaced by the new approaches and high-tech innovations that allow more freedoms in payments and global money transfer at the cost of increasing role of black market and shadow economy sector around the world.

References:

1. According to the exchange rate at coindesk.com (2017). Retrieved from <http://www.coindesk.ru>
2. Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies (2016). Retrieved from http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html
3. Caraluzzo C. (2014). Florida Law Professor Names Cryptocurrencies "Super Tax Havens". Retrieved from <http://cointelegraph.com/news/112262/florida-law-professor-names-cryptocurrencies-super-tax-havens>

4. Cryptocurrencies in Russia to be banned in spring 2015. (2015). Retrieved from <http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7094347>
5. Cryptopilot (2016). Retrieved from <http://cryptopilot.ru/bitcoin-kurs-2014.html>
6. Davidson J. (2013) The Digital Coin Revolution - Crypto Currency - How to Make Money Online. JD-Biz Corp Publishing. (P. 3 – 5).
7. Frisby D. (2016). How Bitcoin tech will revolutionize everything from email to governments. Virgin Group. Retrieved from <http://www.virgin.com/entrepreneur/how-bitcoin-tech-will-revolutionise-everything-from-email-to-governments>
8. Husain T. (2016). Transition from frontier to emerging markets. The Express Tribune. September 21, 2015.
9. Information on electronic payments system (2015). Retrieved from: <http://paysyst.ru/crypto-payment-system.html>
10. Kharif O. (2016). Venture Capitalist Draper Bets \$400,000 More on Bitcoin Revival. Bloomberg news. Retrieved from <http://www.bloomberg.com/news/2015-01-27/venture-capitalist-draper-bets-400-000-more-on-bitcoin-revival.html>
11. Kokkola T. (Ed.) (2016). The Payment System. Payments, securities and derivatives, and the role of the Eurosystem. European Central Bank, 2010. (P. 25). Retrieved from: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdf>
12. Musacchio A., Werker E. (2016). Mapping Frontier Economies. Harvard Business Review, December 2016. Retrieved from <https://hbr.org/2016/12/mapping-frontier-economies>
13. Retrieved from <http://tribune.com.pk/story/960364/on-the-edge-transition-from-frontier-to-emerging-markets>
14. Vigna P., Casey M.J. (2015) Cryptocurrency: How Bitcoin and Cybermoney Are Overturning the World Economic Order. RHCБ; Tudor F. (2014). Making Money with Bitcoins, Litecoins and Other Cryptocurrency. Frank Tudor, Kindle Edition.
15. Virtual Currency Schemes. European Central Bank, October 2012. <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>

**ФРОНТИРНАЯ ЭКОНОМИКА: ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТ**

Болдырихин А.А.

Болдырихин А.А., кандидат политических наук, преподаватель кафедры международной экономики и внешнеэкономической деятельности факультета международных отношений Воронежского государственного университета 394068, Воронеж, Россия, Московский проспект, 88. Эл. почта: commando@inbox.ru

В настоящей статье автор анализирует перспективы развития криптовалют в современной экономической жизни как символ фронтальной экономики и абсолютно новую финансовый инструмент. Приведена краткая техническая информация, общий обзор электронных транзакций и структуры виртуальных валют. Возникновение электронных денег и криптовалют было неизбежным этапом в процессе эволюции Интернета и электронной коммерции. Автор задается вопросом, насколько далеко криптовалюты могут шагнуть в ближайшем времени как символ трендов фронтальной экономики, учитывая при этом тот факт, что крупные инвесторы уже всерьез закупают различные виды криптовалют, тогда как государственные структуры стараются запретить этот платежный инструмент как угрозу централизованной эмиссии денег. Таким образом, автор делает попытку понять данный феномен и объяснить, каким образом криптовалюты могут подорвать стабильность уже существующих финансовых систем.

Ключевые слова: Фронтальная экономика, криптовалюты, структура криптовалют, электронные деньги, виртуальная валюта, электронная коммерция.

Библиографический список:

1. According to the exchange rate at [coindesk.com](http://www.coindesk.com) (2017). Retrieved from <http://www.coindesk.com>
2. Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies (2016). Retrieved from http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html
3. Caraluzzo C. (2014). *Florida Law Professor Names Cryptocurrencies "Super Tax Havens"*. Retrieved from <http://cointelegraph.com/news/112262/florida-law-professor-names-cryptocurrencies-super-tax-havens>
4. Cryptocurrencies in Russia to be banned in spring 2015. (2015). Retrieved from <http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7094347>
5. Cryptopilot (2016). Retrieved from <http://cryptopilot.ru/bitcoin-kurs-2014.html>

6. Davidson J. (2013) *The Digital Coin Revolution - Crypto Currency - How to Make Money Online*. JD-Biz Corp Publishing. (P. 3 – 5).
7. Frisby D. (2016). *How Bitcoin tech will revolutionize everything from email to governments*. Virgin Group. Retrieved from <http://www.virgin.com/entrepreneur/how-bitcoin-tech-will-revolutionise-everything-from-email-to-governments>
8. Husain T. (2016). *Transition from frontier to emerging markets*. The Express Tribune. September 21, 2015.
9. Information on electronic payments system (2015). Retrieved from: <http://paysyst.ru/crypto-payment-system.html>
10. Kharif O. (2016). *Venture Capitalist Draper Bets \$400,000 More on Bitcoin Revival*. Bloomberg news. Retrieved from <http://www.bloomberg.com/news/2015-01-27/venture-capitalist-drapeer-bets-400-000-more-on-bitcoin-revival.html>
11. Kokkola T. (Ed.) (2016). *The Payment System. Payments, securities and derivatives, and the role of the Eurosystem*. European Central Bank, 2010. (P. 25). Retrieved from: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdf>
12. Musacchio A., Werker E. (2016). *Mapping Frontier Economies*. Harvard Business Review, December 2016. Retrieved from <https://hbr.org/2016/12/mapping-frontier-economies>
13. Retrieved from <http://tribune.com.pk/story/960364/on-the-edge-transition-from-frontier-to-emerging-markets>
14. Vigna P., Casey M.J. (2015) *Cryptocurrency: How Bitcoin and Cybermoney Are Overturning the World Economic Order*. RHCB; Tudor F. (2014). *Making Money with Bitcoins, Litecoins and Other Cryptocurrency*. Frank Tudor, Kindle Edition.
15. *Virtual Currency Schemes*. European Central Bank, October 2012. <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>

ОБЗОР ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЖУРНАЛА ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ИТОГИ 2016 ГОДА.

Алиев Р.Т.

Алиев Растям Туктарович, к.и.н., доцент кафедры культурологии,
Астраханский государственный университет. 414056, Астрахань, Россия, ул. Татищева,
20а.

Эл. почта: хаагап@mail.ru

Данная статья посвящена анализу публикационной активности Журнала Фронтирных Исследований и является закрывающей четвёртый номер 2016, дебютного для журнала года. Членами редакционной коллегии являются ведущие учёные России и США. Их география довольно обширна: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Краснодарский край, Чикаго (США), Гавайи (США), Вирджиния (США), Цинциннати (США) и другие. За прошедший период было выпущено четыре номера журнала, и по праву его можно назвать международным, так как география авторов, опубликовавших результаты своих исследований, очень сильно различается и включает в себя и Китай, и США, и Россию, и другие страны. К тому же постепенно расширяющийся круг вопросов, тем или иным образом касающихся тематики фронта, указывает на заинтересованность современных учёных данной проблематикой. Обращение к ней учёных различных сфер науки вновь подтверждает практичность и универсальность теории. Автором проводится анализ рубрик журнала, и выявляются основные направления исследований фронтирной тематики. При этом автор обозначает ряд проблем, встающих перед молодым журналом, решение которых открывает пути для дальнейшего развития этого электронного научного периодического издания.

Ключевые слова: Журнал Фронтирных Исследований, фронт, гетеротопия, Чужой, Другой, культурная безопасность, наука, статья, периодическое издание, философия, история, культурология, естественные науки.

2016 г. стал для Журнала Фронтирных Исследований дебютным. Это научное периодическое издание было задумано как проект ещё в 2014 г., когда главные редакторы журнала д.и.н., профессор С.Н. Якушенков и д.ф.н., профессор А.П. Романова вместе с коллегами работали над рядом проблем, тем или иным образом связанных с фронтирной тематикой.

В 2015 г. журнал получил официальную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (Эл № ФС77-61330 от 07 апреля 2015 г.), а первый номер вышел в свет в начале 2016 г.

Стоит отметить, что в редакционную коллегию журнала вошли ведущие учёные России и США. Их география довольно обширна: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Краснодарский край, Чикаго (США), Гавайи

(США), Вирджиния (США), Цинциннати (США) и другие. При этом за год состав редакционной коллегии пополнился новыми персонами. В частности, в неё вошёл Sunderland Willard, Ph.D. in History, профессор кафедры истории, университет Цинциннати. Все материалы, поступающие для публикации в журнале, проходят тщательное рецензирование.

За год командой журнала была проведена огромнейшая работа по приёму и публикации новых материалов по фронтальной тематике. При этом каждый из материалов классифицировался по особой тематике (рубрике) журнала: Теория фронта, Российский фронт, Зарубежный фронт, Люди фронта, Фронт в масс-медиа и другие. Стоит подчеркнуть, что за год с развитием и популяризацией теории фронта, появились и новые: Общетеоретические вопросы, Разное, Рецензии и многие другие. Всё это доказывает, что журнал оказался живучим и развивающимся, а интерес различных исследователей к данной тематике только увеличивающимся.

За 2016 г. журнал опубликовал целых четыре квартальных номера. В первом дебютном номере география авторов оказалась не столь широкой. Она представлена лишь Астраханью и Москвой (См. рис. №1). При этом здесь были опубликованы научные исследования по различным рубрикам: 3 статьи в рубрике «Российский фронт» (Якушенков, Якушенкова, 2016, №1, стр. 9-21) (Канатъева, 2016, № 1, стр. 22-32) » (Хлыщева, 2016, стр. 33-43); 2 – «Зарубежный фронт» (Кудряшова, 2016, стр. 44-56) (Кулаков, 2016, стр. 57-66); 3 – «Люди Фронта» (Ермуханова, 2016, стр. 80-89) (Романова, 2016, №1, стр. 67-79) (Бичарова, 2016, стр. 90-99); 3 – «Фронт в Масс-медиа» (Довбыш, 2016, стр. 100-115) (Якушенков, Якушенкова, 2016, № 1, стр. 116-125) (Алиев, 2016, стр. 126-133); 2 – «Рецензии» (Романова, 2016, № 1, стр. 134-136) (Герасимиди, 2016, стр. 137-140). Это, в свою очередь доказывает интерес исследователей к различным сторонам фронтальной тематики.

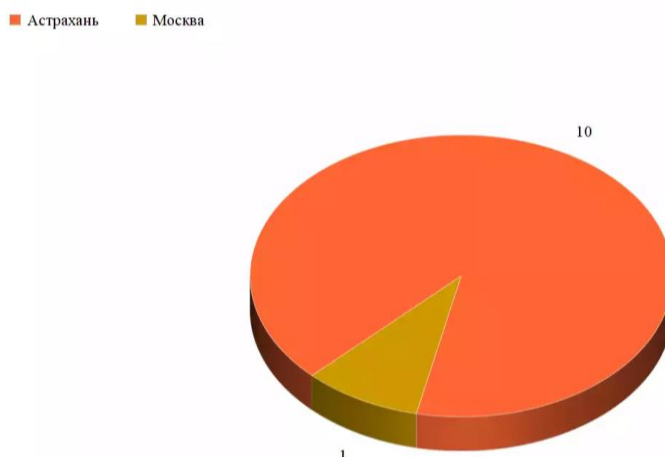


Рис. №1

Второй номер Журнала фронтирных исследований расширил свою географию (см. рис. №2). В частности, количество авторов из Астрахани уменьшилось, но появились новые: Воронеж и Хайкоу (Китай). Тем самым журнал подтверждает свой статус международного.

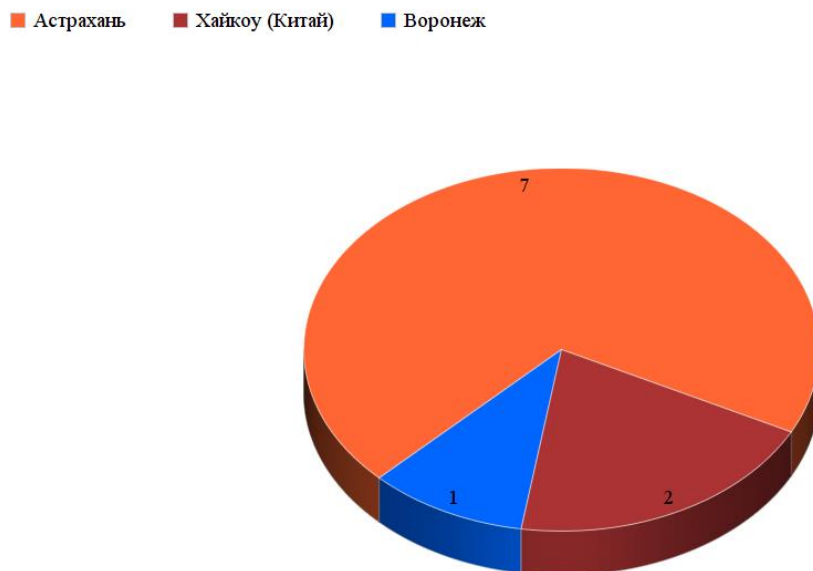


Рис. №2

В новом номере рубрики были распределены следующим образом: «Российский фронтир» – 5 статей (Кирчанов, 2016, стр. 9-23) (Торопицын, 2016, №2, стр.24-42) (Сычев, 2016, №2, стр. 43-51) (Черник, 2016, №2, стр. 52-60) (Завьялова, 2016, №2, стр. 61-72); «Зарубежный фронтир» – 1 статья (Саракаева, Саракаева, 2016, №2, стр. 73-91); «Общетеоретические вопросы» – 1 статья (Карабущенко, 2016, стр. 92-104); «Рецензии» – 2 статьи (Романова, 2016, №2, стр. 111-114) (Канатьева, 2016, №2, стр. 105-110).

Третий номер журнала вышел в третьем квартале 2016 г., и сразу же выдал более широкую географию авторов, опубликовавшихся в нём (см. рис. №3)

■ Астрахань ■ Воронеж ■ Гавайи (США) ■ Армавир ■ Волгоград ■ Орёл

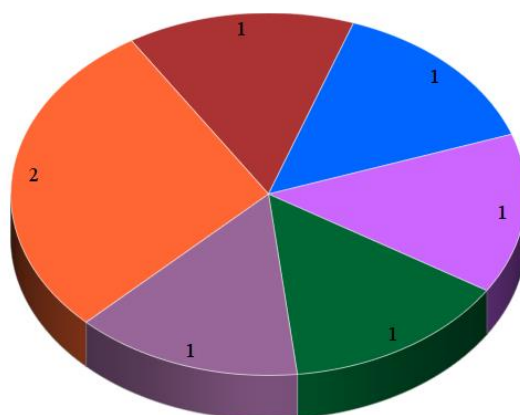


Рис. №3

В новом номере рубрики были распределены следующим образом: «Российский фронтир» – 6 статей (Жиброва, 2016, №3, стр 7-17) (Романьелло, 2016, стр. 18-38) (Алиев, 2016, №3, стр. 39-51) (Скиба, 2016, стр. 52-77) (Щеглова, Щипулина, 2016, стр. 78-91) (Степанов, 2016, стр. 92-116); «Зарубежный фронтир» – 1 статья (Торопицын, 2016, №3, стр. 117-130);

Таким образом, анализ публикационной активности Журнала Фронтирных Исследований позволяет нам сделать вывод, что журнал продемонстрировал свою работоспособность и востребованность научной аудиторией. География авторов, публикующихся в нём, с каждым новым выпуском растёт, а круг исследовательских вопросов, касающихся тематики фронта, расширяется. Но в тоже время перед редакцией журнала встают некоторые проблемы, выявление и решение которые поднимут молодой журнал на новый уровень.

Библиографический список:

1. Алиев Р.Т., (2016) Проблема этнической идентификации юртовских татар. *Журнал Фронтирных Исследований*. №3, стр. 39-51
2. Алиев Р.Т., (2016) Фронтирные архетипы в американском комиксе (на примере Супермена и Стражей галактики). *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 126-133.
3. Бичарова М.М., (2016) Интернациональная семья как микромодель фронта и проблемы культурной безопасности. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 90-99.
4. Герасимиди Е.И., (2016) Рецензия на монографию: Романова А.А., Якушенков С.Н., Хлыщёва Е.В., Васильев Д.В., Кусмидинова М.Х., Якушенкова О.С., Топчиев М.С. Нижневолжский фронт: культурная память и культурное наследие: учебное пособие. Астрахань: Сорокин Роман Васильевич, 2014, 236с. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 137-140.
5. Довбыш Е.Г., (2016) Электронный фронт как метафора. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 100-115.
6. Ермуханова Н.А., (2016) Хан Букеевской орды Джангир - человек Нижневолжского фронта. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 80-89.
7. Жиброва Т.А., (2016) «Бить батогами нещадно»: Воронежский уезд как фронт XVII в.. *Журнал Фронтирных Исследований*, №3, стр. 7-17
8. Завьялова Е.Е., (2016) «Последнее лето на волге» Ф.Н. Горенштейна: опыт анализа произведения в контексте фронтирной парадигмы. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 2, стр. 61-72
9. Канатьева Н.С., (2016) Астраханский слон. *Журнал Фронтирных Исследований*, №2, стр. 105-110
10. Канатьева Н.С., (2016) Сектанство на Нижневолжском фронте в XIX веке: секта пещерокопателей. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 22-32.

11. Карабущенко П.Л., (2016) Элита и фронтир. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 2, стр. 92-104.
12. Кирчанов М.В., (2016) Intellectual strategies of sovietization in order to overcome frontier, or how chuvash nationalists formed socialist canon of the 1920s and 1930s. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 2, стр. 9-23.
13. Кудряшова Ю.А., (2016) Роль миссионерских станций в распространении европейской модели образования в Западной африке во второй половине XIX века. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 44-56
14. Кулаков В.О., (2016) Северные провинции Ирана в истории русского фронта в Прикаспии. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 57-66.
15. Романова А.П., (2016) «Идущие со звездами» - ода американской женщине. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 134-136;
16. Романова А.П., (2016) Плененные Кавказом и на Кавказе. *Журнал Фронтирных Исследований*, №2, стр. 111-114.
17. Романова А.П., (2016) Фронтирмэн, охотник, воин. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 67-79.
18. Романьелло М.А., (2016) «Russian women and orthodox ideals on the early modern frontier». *Журнал Фронтирных Исследований*, №3, стр. 18-38
19. Саракаева Э.А., Саракаева А.А., (2016) Самопрезентация правителей в условиях фронтирного взаимодействия культур в Южном Китае V в. до н.э.. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 2, стр. 73-91.
20. Скиба К.В., (2016) Гибель «старшего темиргоевского князя» Джамбулата Болотокова возле крепости Прочный окоп в октябре 1836 года. *Журнал Фронтирных Исследований*, №3, стр. 52-77
21. Степанов В.А., (2016) Трансформации этнополитических измерений в ценностях европейской культуры (о кризисе мультикультурализма в европейском сообществе и реакции на процесс государств новых демократий: на примере республики Молдова). *Журнал Фронтирных Исследований*, №3, стр. 92-116
22. Сычев М.С., (2016) Тунгачинщина. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 2, стр. 43-51
23. Торопицын И.В., (2016) Некоторые черты военного искусства индейцев Североамериканских прерий. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 3, стр. 117-130.
24. Торопицын И.В., (2016) Служба казачьей команды при калмыцких делах в первой половине XVIII в. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 2, стр. 24-42.

25. Хлыщева Е.В., (2016) Конструкты межкультурного взаимодействия на фронтирных территориях: к проблеме культурной безопасности. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 33-43.
26. Черник М.В., (2016) Институты судебной власти внутренней Киргизской орды в Нижневолжском фронтире. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 2, стр. 52-60
27. Щеглова Л.В., Шипулина Н.Б., (2016) Flea markets of Volgograd: cultural and socio-psychological specificity. *Журнал Фронтирных Исследований*, №3, стр. 78-91
28. Якушенков С.Н., Якушенкова О.С., (2016) «Отражение постфронтирных процессов в американском кинематографе». *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 116-125.
29. Якушенков С.Н., Якушенкова О.С., (2016) Власть земли»: формирование новой инаковости в условиях фронтира. *Журнал Фронтирных Исследований*, № 1, стр. 9-21.

JOURNAL OF FRONTIER STUDIES PUBLICATION ACTIVITY REVIEW: THE RESULTS OF 2016

Aliev R.T.

Aliev Rastyam Tuktarovich, Ph.D. in history, Astrakhan State University,
414056, Astrakhan, Russia, Tatischeva Str., 20a.
E-mail: xaaqan@mail.ru

This article is dedicated to analysis of the Journal of Frontier Studies publication activity. It summarizes all issues of 2016, the debut year for the Journal. The Members of the editorial board are leading scientists of Russia and the United States. Their geography is rather wide: Moscow, St. Petersburg, Astrakhan, Krasnodar, Chicago (USA), Hawaii (USA), Virginia (USA), Cincinnati (USA) and others. Over the past period we released four issues of JFS, and on the right it can be called international, because the geography of the authors who have published the results of their research are very wide and includes both China and the United States, and Russia, and other countries. Besides gradually expanding the range of issues one way or another related to the problems of the frontier, indicates the interest of modern scholars with this issues. Appeal to the scientists of various fields of science once again confirms the practicality and versatility of the theory. The author analyzes the columns of the journal, and identifies the main areas of research frontiers subjects. The author identifies a number of problems faced by the younger journal, which opens up the way for further development of this electronic scientific periodicals.

Keywords: Journal of Frontier Studies, Frontier, heterotopia, Alien, Another, cultural security, science, periodicals, philosophy, history, culture, science.

Referenses:

1. Aliev R.T., (2016) The problem of yurt tatars' ethnic identity. *Journal of Frontier Studies*. №3, pp. 39-51
2. Aliev R.T., (2016) *Journal of Frontier Studies*. № 1, pp. 126-133
3. Bicharova M.M., (2016) International family as mycro-model of frontier & cultural safety problems. *Journal of Frontier Studies*. №1, pp. 90-99
4. Gerasimidi E.I., (2016) The frontier of Lower Volga: cultural memory and cultural heritage. *Journal of Frontier Studies*. №1, pp. 137-140
5. Dovbysh E.G., (2016) Electronic frontier as a metaphor. *Journal of Frontier Studies*. №1, pp. 100-115.
6. Ermukhanova N.A., (2016) Jahangir the khan of the Bukey horde – man of the Lower Volga frontier *Journal of Frontier Studies*. №1, pp. 80-89.
7. Zhibrova T. V., (2016) «To beat with a whip mercilessly»: Voronezh district as a frontier of the XVII century. *Journal of Frontier Studies*. №3, pp. 7-17
8. Zavyalova E.E., (2016) «Last summer on the Volga-river» by F.R. Gorenstein: experience of the analysis of the story in the context of frontier paradigm. *Journal of Frontier Studies*. №2, pp. 61-72
9. Kanateva N.S., (2016) Astrakhanese elephant. *Journal of Frontier Studies*. №2, pp. 105-110
10. Kanateva N.S., (2016) Sectarianism in the LOWER VOLGA frontier in the XIX century: pescherokopateley sect. *Journal of Frontier Studies*. №1, pp. 22-32.
11. Karabushenko P.L., (2016) Elite and frontier. *Journal of Frontier Studies*. №2, pp. 92-104
12. Kyrchanoff M.W., (2016) Intellectual strategies of sovietization in order to overcome frontier, or how chuvash nationalists formed socialist canon of the 1920s and 1930s.. *Journal of Frontier Studies*. №2, pp. 9-23
13. Kudryashova Y.A., (2016) The role of the missionary stations in the dissemination of european models of education in West Africa in the second half of the nineteenth century.. *Journal of Frontier Studies*. №1, pp. 44-56
14. Kulakov V.O., (2016) North provinces of Iran in the history of russian frontier in the Caspian region. *Journal of Frontier Studies*. №1, pp. 57-66.
15. Romanova A.P., (2016) «Walking with the stars» – an ode to american woman. *Journal of Frontier Studies*. №1, pp. 134-136
16. Romanova A.P., (2016) Captivated by the Caucasus and in the Caucasus. *Journal of Frontier Studies*. №2, pp. 111-114
17. Romanova A.P., (2016) A frontiersman, a hunter, a warrior. *Journal of Frontier Studies*. №1, pp. 67-79

18. Romaniello Matthew P., (2016) «Russian women and orthodox ideals on the early modern frontier». *Journal of Frontier Studies*. №3, pp. 18-38
19. Sarakaeva E.A., Sarakaeva A.A., (2016) Self-presentation of sotheren china's rulers in the context of frontier cultural interaction (Vth c. b.c.). *Journal of Frontier Studies*. №2, pp. 73-91
20. Skiba K.V., (2016) The death of the «major duke of temirgoys» Dzhambulat dolotokov near fortress Prochnyi okop in october of 1836.. *Journal of Frontier Studies*. №3, pp. 52-77
21. Stepanov V.P., (2016) Transformation of ethnopolitical dimension in the values of european culture (about the crisis of multiculturalism in european community and reaction on the process of the new democracies: the example of the republic of Moldova). *Journal of Frontier Studies*. №3, pp. 92-116
22. Sychev M.S., (2016) «Tungachinshchina». *Journal of Frontier Studies*. №2, pp. 43-51
23. Toropitsyn I.V., (2016) Some features of the art of war of the north american prairie indians. *Journal of Frontier Studies*. №3, pp. 117-130.
24. Toropitsyn I.V., (2016) Cossack service team in cases Kalmyk in the first half of XVIII CENTURY. *Journal of Frontier Studies*. №2, pp. 24-42.
25. Khlyscheva E.V., (2016) Constructs of cross-cultural interaction on the frontier's territories: to a problem of cultural safety. *Journal of Frontier Studies*. №1, pp. 33-43.
26. Chernik M.V., (2016) Judicial institutions of the inner Kyrgyz horde of the Lower Volga frontier. *Journal of Frontier Studies*. №2, pp. 52-60
27. Shcheglova L.V., Shipulina N. B., (2016) Flea markets of Volgograd: cultural and socio-psychological specificity. *Journal of Frontier Studies*. №3, pp. 78-91
28. Yakushenkov S.N., Yakushenkova O.S., (2016) The reflection of postfrontier processes in american cinema. *Journal of Frontier Studies*. №1, pp. 116-125.
29. Yakushenkov S.N., Yakushenkova O.S., (2016) «Power of land»: formation of new otherness in the conditions of frontier. *Journal of Frontier Studies*. №1, pp. 9-21.

ISSN: 2500-0225

**ЖУРНАЛ
ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Научный электронный журнал

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№4

2016

ISSN: 2500-0225

JOURNAL OF FRONTIER STUDIES

Scientific e-journal

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№4

2016